

Илья Эренбург

под колесами
времени

люди
годы
жизнь



Владимир Ленин, Лев Троцкий, Поль Валери, Пабло Пикассо,
Амедео Модильяни, Гийом Аполлинер, Максимилиан Волошин,
Марина Цветаева, Владимир Маяковский, Валерий Брюсов,
Зинаида Гиппиус, Алексей Толстой, Исаак Бабель и многие другие

Люди, годы, жизнь

Илья Эренбург

**Люди, годы, жизнь. Под
колесами времени. Книги
первая, вторая, третья**

«АСТ»

2017

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Эренбург И. Г.

Люди, годы, жизнь. Под колесами времени. Книги первая, вторая, третья / И. Г. Эренбург — «АСТ», 2017 — (Люди, годы, жизнь)

ISBN 978-5-17-098144-1

"Я буду рассказывать об отдельных людях, о различных городах, перемежая и запомнившееся моими мыслителями о прошлом" — так определил И. Г. Эренбург (1891 — 1967) идею создания своих мемуаров, увидевших свет в начале 60-х годов. Знаменитые воспоминания «Люди, годы, жизнь» Ильи Эренбурга — одна из культовых книг середины XX века. Впервые опубликованная в 1960–1965 гг. на страницах «Нового мира», она сыграла исключительную роль в формировании поколения шестидесятых годов; именно из нее читатели впервые узнали о многих страницах нашей истории. В 1-й том вошли первые три книги воспоминаний, охватывающие события от конца XIX века до 1933 г., рассказы о встречах с Б.Савинковым и Л.Троцким, о молодых П.Пикассо и А.Модильяни, портреты М.Волошина, А.Белого, Б.Пастернака, А.Ремизова, повествование о трагических судьбах М.Цветаевой, В.Маяковского, О.Мандельштама, И.Бабея. Комментарии к мемуарам позволяют лучше понять недоговоренности автора, его, вынужденные цензурой, намеки. Книга иллюстрирована многочисленными уникальными фотографиями. Во 2-й том мемуаров И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь» вошли четвертая и пятая книги, посвященные 1933–1945 годам, а также комментарии, содержащие многие исторические документы и свидетельства, редкие фотографии. В четвертой книге Эренбург описал то, что видел лично: предвоенную Европу, войну в Испании, встречи с И. Ильфом и Е. Петровым, А. Жидом, Р. Фальком, Э. Хемингуэем и М. Кольцовым, процесс над Н. Бухариным, падение Парижа в 1940-м. Пятая книга целиком посвящена

событиям Отечественной войны 1941–1945 гг., антифашистской работе Эренбурга. Рассказы о фронтовых поездках, встречах с военачальниками К. Рокоссовским, Л. Говоровым, И. Черняховским, генералом А. Власовым, дипломатами, иностранными журналистами, писателями и художниками, о создании запрещенной Сталиным «Черной книги» о Холокосте. Изданные на основных языках мира, воспоминания И. Эренбурга дают широчайшую панораму XX века. В 3-й том вошли шестая и седьмая книги мемуаров И.Эренбурга «Люди, годы, жизнь». Шестая книга рассказывает о событиях 1945–1953 гг. Послевоенная Москва, путешествие с К.Симоновым по Америке, Нюрнбергский процесс, убийство С.Михоэлса и борьба с «космополитами»; портреты А.Эйнштейна и Ф.Жолио-Кюри, А.Матисса и П.Элюара, А.Фадеева и Н.Хикмета. Книга кончается смертью Сталина, открывшей возможность спасительных перемен в стране. Седьмая книга посвящена эпохе хрущевской оттепели и надеждам, которые она породила. XX съезд, разоблачивший преступления Сталина, события в Венгрии, путешествия по Индии, Японии, Греции и Армении, портреты Е.Шварца, Р.Вайяна и М.Шагала. «После очень длинной жизни мне не хочется говорить того, чего я не думаю, а молчание в некоторых случаях хуже, чем прямая ложь», – писал Эренбург А.Т.Твардовскому, отстаивая свое понимание прожитого.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-098144-1

© Эренбург И. Г., 2017

© АСТ, 2017

Содержание

Мемуары Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь» (от замысла – к рукописи, от издания – к читателю)	7
Том первый (1891–1934)	7
Книга первая	11
Книга вторая	14
Книга третья	18
Книга первая	22
1	22
2	25
3	28
4	34
5	38
6	43
7	45
8	51
9	55
10	58
11	61
12	63
13	68
14	78
15	83
16	87
17	90
18	95
19	99
20	105
21	112
22	117
23	119
24	123
25	127
Конец ознакомительного фрагмента.	131

Илья Эренбург

Люди, годы, жизнь. Книги первая, вторая, третья

Подготовка текста, предисловие комментарии Б. Я. Фрезинского

В оформлении книги использованы фотографии из личного архива Б. Я. Фрезинского, фондов Shutterstock

© И. Г. Эренбург, наследники, 2017

© Б. Я. Фрезинский, подготовка текста, предисловие, комментарии, 2017

© ООО «Издательство АСТ», 2017

* * *

"...неизбежен новый интерес к Эренбургу – сначала к тому, что он делал, потом к тому, что писал... его тексты, прочитанные наконец глубоко и внимательно, оттеснят прозу тех, кто слишком хорошо понимал, где правда, а где неправда".

Дмитрий Быков

Мемуары Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь» (от замысла – к рукописи, от издания – к читателю)

*Костра я не разжег, а лишь поставил
У гроба лет грошовую свечу...*

Илья Эренбург¹

Том первый (1891–1934)

Интервал исторического пространства-времени, о котором писатель и общественный деятель Илья Григорьевич Эренбург (1891–1967) повествует в первом томе своих знаменитых мемуаров, начинается с Российской империи при царствовании Александра III и Николая II и заканчивается воцарением в СССР политической диктатуры Иосифа Сталина. В него уложилась череда знаковых событий как общероссийского, так и мирового значения: русская революция 1905 года, Первая мировая война 1914–1918 гг., большевистский переворот октября 1917 года и следом – Гражданская война (1918–1921), создание всемирного коммунистического движения (Коминтерн), смерть лидера большевиков В. И. Ленина (1924) и острейшая схватка его наследников за лидерство в партии и стране (1924–1929), в которой, используя реальную мощь партаппарата, верх взял генсек Сталин, ликвидировавший оппозицию, подчинивший себе партию и Коминтерн, а следом – коллективизировавший деревню, уничтоживший самую дееспособную часть крестьянства, установив в итоге тотальную власть в государстве. Конечно, Илья Эренбург мог писать лишь о том, что знал и помнил, участником или свидетелем чего ему довелось быть лично. 1905 год в Москве, большевистская организация и арест, политическая эмиграция, парижская группа содействия большевикам, Ленин, Каменев, Троцкий, Зиновьев и уход от большевиков. Конечно, в его жизни была не только политика, были стихи, любовь и первая жена, студентка Сорбонны Катя Шмидт, родившая в 1911 году ему дочь Ирину, а потом его бросившая, уйдя к Тихону Сорокину. Была парижская богема, художники «Ротонды», дружба с мало кому тогда известными Модильяни и Пикассо. Была война, поездки на франко-германский фронт и его корреспонденции оттуда в русские газеты. Эренбург помнил долгожданное возвращение в Россию летом 1917-го и ужаснувший его там раздраз, весь кошмар 1917–1920 годов, красных, белых и зеленых, помнил погромы и ВЧК, бегство на барже из врангелевского Крыма в свободный Тифлис. Потом возвращение в голодную Москву 1920 года, где невозможно было думать о романе «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников», как он думал о нем в Париже 1916-го и в Киеве 1919-го. Помнил, как друг его юности Николай Бухарин помог ему получить разрешение на отъезд в Париж с советским паспортом. Обо всем этом хотелось рассказать (наверное, с разной мерой подробностей) в своих мемуарах. Он не мог и не собирался писать о том, чего не видел и не знал: о страшной коллективизации, о методичном укреплении личной власти Сталина.² Ликвидацию политической оппозиции в СССР Илья Эренбург, поселившийся в 1921 году за границей, посчитал делом сугубо внутрипар-

¹ Из стихотворения «Люди, годы, жизнь» (1964).

² С 1921 г. живя на Западе и приезжая в СССР в 1924 и 1926 годах, Эренбург месяц-другой ездил по стране, встречался с друзьями-писателями и с Бухариным, но каких-либо серьезных тревог не ощутил, а в следующий приезд в 1932 г. очертания единоличной власти уже были заметны всем.

тийным, лично его не затрагивающим, ведь серьезные житейские проблемы возникли лишь на рубеже 1920–30-х годов, главным образом из-за жесточайшего мирового экономического кризиса, о чем он тоже должен был рассказать в мемуарах...

Воспоминания «Люди, годы, жизнь» могли быть написаны только после смерти Сталина, в годы относительной либерализации жизни в стране.

Собственно, замысел большого повествования о прожитой жизни, о людях, с которыми она сводила, о событиях, свидетелем или участником которых доводилось быть, о странах, куда заносила судьба, стал складываться у Ильи Эренбурга в середине 1950-х годов.

Первую попытку поделиться с читателями рассказом о своей жизни Эренбург предпринял еще в «Книге для взрослых», соединившей в себе роман с мемуарами; этот замысел возник в 1935-м (в конце года, будучи в Москве, Эренбург поделился им с редакцией «Знамени», откуда в самом начале 1936-го письмом в Париж заинтересованно напомнили ему об этом, и он засел за работу). «Книга для взрослых» вышла из печати накануне 1937 года, который, как оказалось, меньше всего располагал к воспоминаниям. Определяя для себя в конце 1950-х момент, когда можно будет приступить к новой большой работе, Эренбург, надо думать, держал в голове историю и судьбу «Книги для взрослых». Многие ее мемуарные страницы он использовал в процессе работы над книгой «Люди, годы, жизнь», но акценты в повествовании существенно изменились – исчезли былая ирония, жесткость иных суждений. «Мы слишком часто бывали в размолвке с нашим прошлым, чтобы о нем хорошенько подумать. За полвека множество раз менялись оценки и людей и событий; фразы обрывались на полуслове; мысли и чувства невольно поддавались влиянию обстоятельств. Путь шел по целине; люди падали с обрывов, скользили, цеплялись за колючие сучья мертвого леса. Забывчивость порой диктовалась инстинктом самосохранения: нельзя было идти дальше с памятью о прошлом, она вязала ноги...»³ – с такой мыслью он приступил к повествованию о людях, годах и жизни.

Хрущевская оттепель, казалось, открывала возможность вернуться к прошлому и разобратся в нем; за три года после смерти Сталина страна сделала заметный шаг к самоочищению. Даря в 1956 году знакомому человеку свою повесть «Оттепель», Эренбург сказал, что все оставшееся время будет писать одну книгу – воспоминания. В своих литературных планах после «Оттепели» он вообще отказался от беллетристики. Характерным в этом смысле было и его категорическое решение исключить из своего последнего прижизненного собрания сочинений такие откровенно неудавшиеся ему вещи (советская цензура, напротив, к ним благоволила), как повесть «Не переводя дыхания», роман «Девятый вал» и вторая часть повести «Оттепель». При этом художественная эссеистика, стихи, переводы и международная публицистика оставались для него жанрами в разных смыслах актуальными.

Что же касается собственно воспоминаний, то прошли долгие четыре года, прежде чем Эренбург приступил к этой объемной работе. Тому были причины как внутреннего, так и внешнего порядка. О внутренних причинах Эренбург написал 5 мая 1958 года в «Автобиографии»: «Мне 67 лет, друзья иногда спрашивают меня, почему я не пишу мемуаров. Для того чтобы задуматься над прошлым, нужно отъединение и время, а у меня нет ни того, ни другого, я живу настоящим и все еще пытаюсь заглянуть в будущее. Жизнь нельзя просто пересказать, это неинтересно. Да и опасно полагаться на память: оглядываясь назад, видишь десятилетия в тумане, лес, а в лесу – случайно запомнившиеся полянки. Для того чтобы рассказать о жизни, следует ее продумать...»⁴

³ См. наст. изд. С. 25–26.

⁴ Советские писатели. Автобиографии. <Т.1>. – М., 1958.

В этой цитате выделим слова «я живу настоящим» и добавим к ним фактическую справку: Эренбург практически не писал в стол, он работал для своих современников,⁵ при этом хорошо знал политическую кухню цензуры и писал на пределе допустимого. В 1930–50-е годы только стихи сочинялись без какой-либо оглядки на возможность их публикации; некоторые из стихотворений не печатались годами, дожидаясь лучших времен, иные были опубликованы уже посмертно. В черное время (13 февраля 1953-го) Е. Л. Шварц пронизательно записал об Эренбурге в дневнике – там, где рассказывал о встречах с ним в 1920-е годы: «Потом, позже угадал я его дар: жить искренне, жить теми интересами, что выдвинуты сегодняшним днем, и писать о них приемами искусства сегодняшнего дня».⁶

Внешняя причина задержки с мемуарами – политический откат, происшедший в конце 1956 года в СССР после революционных выступлений в Польше и восстания в Венгрии, подавленного Советской Армией. Началось контрнаступление сталинистов на ту часть интеллигенции, в которой они видели главную опасность своей неограниченной власти.

Публикация эссеистики Эренбурга 1955–58 годов была пробой для его мемуаров (Эренбург писал о Бабеле и Цветаевой, о Лапине и Сарьяне, о любимых французских поэтах, прозаиках и художниках, об итальянском кино, о Чехове, о странах Азии, где побывал впервые, об их культуре и традициях). Эта работа, своеобразная «разведка боем»,⁷ позволила ему оценить реальные границы цензурно дозволенного в новых условиях послесталинского времени. Работая на этой грани возможного, Эренбург не раз ее **переступал**, чтобы, под нажимом цензуры, у последней черты сказать нет, фактически означавшее для него запрет публикации. При этом, конечно, Эренбург рассчитывал на свою международную известность, поддержку в кругах левой интеллигенции Запада, заинтересованность реформистской прослойки из хрущевского окружения в освобождении страны от сталинского наследия и улучшении ее зарубежной репутации. И тут уже, опасаясь международного скандала, ему, случалось, уступали. Художественная эссеистика Эренбурга вызывала озлобленные нападки ортодоксов, подчас срежиссированные аппаратчиками ЦК КПСС (как это было с «Уроками Стендаля»). Победы в те годы сталинисты, и самая возможность обращения к читателю с книгой воспоминаний для Эренбурга закрылась бы. После 1958 года, ославившегося позорным мировым скандалом в связи с Нобелевской наградой Б. Л. Пастернаку, советский политический маятник снова чуть качнулся в сторону цензурного послабления, и Эренбург почувствовал, что наступает время для его заветной работы. «Осенью 1959 года, – вспоминал он позднее, – я часто говорил себе, что нужно сесть за стол и начать книгу воспоминаний; обдумывал план книги и, как всегда у меня бывало, оттягивал начало работы...»⁸ Эренбург решил довести мемуары до весны 1953-го, но уверенности, что удастся напечатать все написанное, у него не было, и впервые за последние годы писательства он готов был к тому, что не все им написанное будет опубликовано.

Однако, несмотря на подчас свирепевшую цензуру, Эренбургу ценою некоторых дипломатических уступок и хитростей удалось напечатать едва ли не все написанные им главы – годы работы над книгой «Люди, годы, жизнь» стали временем заметных перемен и

⁵ Сошлюсь и на свидетельство искусствоведа И. Голомштока, которому Эренбург сказал: «Я средний писатель. Я не могу писать в стол. Я знаю: то, что я пишу, сегодня нужно людям, а завтра это будет уже не нужным». Его слова так прокомментированы Голомштоком: «Это было точно! Даже в самых скучных своих романах 40-х годов Эренбург всегда доходил до грани запретного, слегка переступал за эту грань, за что неоднократно подвергался строгой критике в прессе. Я, по крайней мере, всегда находил в его романах что-то мне “нужное”. И кто бы из наших “письменников” назвал бы себя средним писателем! Температура моего уважения к Эренбургу подскочила на несколько градусов!» (Знамя. 2011. № 3. С. 161). Думаю, объективно говоря, что Эренбург не был «средним писателем» своего времени, он имел *свое* лицо.

⁶ Шварц Е. Я живу беспокойно: из Дневников. – Л., 1990. С. 294–295.

⁷ В одноименном стихотворении (1939 г.) Эренбург так назвал годы своей молодости.

⁸ См. наст. изд.: том 3, книга 7, глава 21.

сдвигов в стране, и сами эренбургские мемуары работали, по мере их публикации, на эти перемены.

Эренбург понимал, что были писатели, вся творческая и жизненная энергия которых реализовалась в их книгах (это подтверждают его слова в мемуарах о беззаветно любимом Гоголе: «Каким светом озарил этот угрюмый, болезненный, в жизни глубоко несчастный человек и Россию и мир!»).⁹ Для других же литература являлась одной из форм их участия в жизни (к ним, скажем, можно отнести и столь ценимого Эренбургом Стендаля). В этом смысле и о самом Илье Григорьевиче, человеке умном и одаренном, в молодости менявшем не только политические взгляды, но и художественные увлечения, можно сказать, что его собственная жизнь, отмечена непримиримостью и компромиссами, непоседливостью, общительностью и очень замкнутым ближним кругом, дружбами и знакомствами с гениальными художниками и поэтами, неизменной верностью искусству и политическим реализмом. Словом, именно жизнь Эренбурга – его самый интересный роман. Поэтому, наверное, воспоминания «Люди, годы, жизнь» стали для отечественных читателей 1960-х годов захватывающим чтением (вопреки всем издержкам, неминуемым для подцензурного сочинения в условиях тоталитарного государства). Эта его книга сыграла исключительную роль в формировании молодого поколения того времени. То обстоятельство, что нынешний памятный читатель располагает знанием куда более острых и трагических фактов, чем приведенные на страницах книги Эренбурга, никак не лишает ее интереса и значительности; как раз напротив – эти вновь полученные знания позволяют точнее и лучше понять Эренбурга, его недоговоренности, намеки, мучения, его веру, его неуступчивость и компромиссы. Надеюсь, что и нынешние комментарии к мемуарам «Люди, годы, жизнь» способствуют тому же.

В течение пяти лет мемуары Эренбурга печатались в «Новом мире». По существу, это был единственный тогда журнал, куда он мог предложить свою рукопись, хотя его отношения с главным редактором журнала А. Т. Твардовским были едва ли не прохладными (ранних вещей Эренбурга Твардовский не знал, его поэзию ни во что не ставил, поздней прозой пренебрегал; в свою очередь, сложившиеся в 1910–20-х годах поэтические симпатии Эренбурга были в целом далеки от поэтики Твардовского). Взаимоотношения чуть потеплели после публикации в журнале нетривиального эренбургского эссе «Перечитывая Чехова» (1959). Но, даже печатая «Люди, годы, жизнь», главный редактор «Нового мира» в своих Дневниках 1960-х годов¹⁰ многократно и охотно фиксировал высокомерное пренебрежение не только к литературной работе Эренбурга, но и к самой его личности, к его вкусам и стилю, как он их себе представлял, а Эренбург был человеком не в пример более закрытым и дневников не вел, так что документального свидетельства его личного отношения к Твардовскому (литератору, редактору, человеку) не оставил. Отметим также, что немного найдется среди достойных наших писателей середины XX века ментально и житейски более далеких друг другу людей, чем Твардовский и Эренбург.

Несмотря на это, главный редактор «Нового мира» сразу же решил печатать «Люди, годы, жизнь» и неизменно был корректен в общении и переписке с Эренбургом, предоставляя, правда, ему самому добиваться цензурного разрешения, если речь шла о запретах политически непроходимого материала, и лишь однажды отказался печатать неприемлемую лично для него главу мемуаров о Фадееве. Только после смерти Эренбурга, невольно сравнивая его с другими «советскими классиками», скажем с Фединым или Тихоновым, пережив к тому времени немало жестоких разочарований и ударов, Твардовский переосмыслил и самое значение мемуаров Эренбурга, ответственно пообещав им «прочную долговечность».¹¹

⁹ См. наст. том, книга 3, глава 14.

¹⁰ Твардовский А. Т. Новомировский дневник: в 2 т. – М., 2009.

¹¹ Твардовский А. Памяти Ильи Григорьевича Эренбурга // Новый мир. 1967. № 9. С. 286; см. также: Твардовский А.

Приведем еще одно суждение о мемуарах Эренбурга из дневника близкого к диссидентскому кругу писателя А. К. Гладкова, который в 1960-е годы часто бывал у И. Г., подолгу с ним разговаривал и записывал в дневник многое из того, что считал важным. Одна запись сделана им через год после смерти Эренбурга – 24 сентября 1968 года. Просмотрев томик «Люди, годы, жизнь» с 5-й и 6-й частями, Гладков записал: «Мне понадобилась одна справка из мемуаров Эренбурга, и я стал перелистывать третий том и кое-что перечитал. Вот книга, которая за время своего существования то понижается в цене, то растет. Сейчас она снова кажется почти невыносимо смелой и откровенной (как потемнел общий фон), а когда И. Г. печатал при жизни последние части <искореженные цензурой. – Б. Ф.>, то на фоне расцвета самиздатовской литературы она казалась и трусливой, и приблизительной, и туманной. Истина, как всегда, посередине, но настоящая оценка ее (как и всего написанного Эренбургом) возможна в соотношении с окружающим: она не существует отдельно от него: она с ним связана сложной исторической связью».¹² Это суждение из дневника, а вот другое, из его собственных воспоминаний об Илье Григорьевиче: «Писатель Эренбург не мог не знать, что в истории литературы есть жестокая закономерность: авторы знаменитых автобиографических книг обычно надолго лишают себя подробных биографий <...> Психологически трудно вступить в соревнование с героем биографии, самым подробно рассказавшим свою жизнь. Работа грозит превратиться в безудержное цитирование, авторство станет пересказом... Илья Григорьевич прекрасно понимал это, и, когда я однажды заговорил с ним на эту тему <...> сказал: “Я шел на это”. Он шел на многое – и на то, что очень долго никто не решится взяться за написание его биографии, и на то, что “Люди, годы, жизнь” сделают несуществующей едва ли не добрую треть им написанного, и на то, что совершаемая им попутно рассказу о своей жизни “переоценка ценностей” вызовет немедленные споры и протесты. И как все-таки хорошо, что написана эта энциклопедически щедрая, яркая, сердечная, добрая книга».¹³

Книга первая

К работе над первой книгой мемуаров Эренбург приступил во второй половине декабря 1959 года. К той поре он постарался освободиться от многих побочных обязательств, хотя дела, связанные с общественно-политической работой остались неотмененными. 4 января 1960 года, уезжая по неотложному делу в Стокгольм, Эренбург сообщал другу своей парижской юности поэтессе Елизавете Полонской: «Пишу мемуары, но все время отрываю, а хочется восстановить прошлое».¹⁴ Приступая к самому значительному замыслу своей жизни, Эренбург обращался к различным литературным источникам – книгам, газетам, архивным материалам, а также к уцелевшим свидетелям событий (так, 17 февраля 1960 г. в письме к В. А. Радус-Зеньковичу, с которым в 1908 году он сидел в Мясницкой полицейской части Москвы, Эренбург расспрашивал о дальнейшей судьбе товарищей по подполью;¹⁵ весной 1960 года отдельные главы рукописи посылал с просьбой отметить возможные неточности своему гимназическому товарищу В. Е. Крашенинникову, О. П. Ногиной; летом – Е.

Собр. соч.: в 5 т. Т. 5. – М., 1971. С. 379.

¹² Дневники А. К. Гладкова за 1968 г. / Публикация М. Михеева // Звезда. 2015. № 1. С. 179. Доживи А. К. Гладков до наших дней, он наверняка не отказался бы от этих слов.

¹³ Гладков А. К. Поздние вечера. – М., 1986. С. 100–200; см. также: Воспоминания об Илье Эренбурге. – М., 1975. С. 261–262.

¹⁴ Эренбург И. Г. На цоколе истории. Письма 1931–1967 / Издание подгот. Б. Я. Фрезинским. – М.: Аграф, 2004. С. 477; далее: П 2 и номер страницы.

¹⁵ П2. С. 478–479.

Г. Полонской). 15 апреля 1960 года Эренбург сообщил О. П. Ногиной: «Я закончил первую часть воспоминаний».¹⁶

Первая книга мемуаров Эренбурга повествует о первых 26 годах жизни Ильи Эренбурга. В ней главы о Киеве, где он родился 26 (14) января 1891-го, о Москве, куда в 1896-м переехала его семья (родители, их первые три дочки и он сам), о Первой московской гимназии, где учился, о друзьях большевистской юности Н. Бухарине, Г. Сокольникове, С. Членове и В. Неймарке, о молодой революционерке Н. Львовой, писавшей стихи, о Париже, куда он эмигрировал в декабре 1908 года, спасаясь от преследований за революционную работу, о политиках В. Ленине и Б. Савинкове, с которыми познакомился уже в Париже, о старшем друге Т. Сорокине, к которому ушла его первая жена, о друзьях парижской молодости: русских поэтах К. Бальмонте, М. Волошине, А. Толстом, французских поэтах Г. Аполлинере и М. Жакобе, о художниках А. Модильяни, Ф. Леже, Д. Ривере и П. Пикассо.

Поэт Борис Слуцкий, которому Эренбург давал на прочтение все написанное до передачи мемуаров в редакцию журнала, вспоминал: «Правя мемуары, я, конечно, иногда разрушал музыку фразы, которая всегда выговаривалась прежде, чем выстукивалась на машинке. Вообще говоря, мемуары читали (до журнальных редакторов) всегда и по главам – Наталия Ивановна <Столярова, секретарь Эренбурга. – Б. Ф.> (она их перепечатывала), Любовь Михайловна <жена писателя. – Б. Ф.>, Ирина Ильинична (его дочь), я и Савич <ближайший друг писателя. – Б. Ф.>. Кроме того – так сказать, узкие специалисты. <...> Мелкие справки наводились по “Ляруссу” и Большой советской энциклопедии (2-е издание). В случае надобности читалась всякая дополнительная литература. Эренбург слушал замечания, даже требовал их, спорил, часто соглашался. Один из важнейших законов, которые он выработал для мемуарной книги, – не писать о плохих людях (кажется, никто из них не удостоился отдельной главы) и не писать плохого о хороших людях. Эренбурга обвиняли в очернительстве, а закон, оказывается, толкал на лакировку».¹⁷

Критик Б. М. Сарнов приводит услышанные им от Эренбурга слова о книге «Люди, годы, жизнь»: «Я писал ее для печати. В первой книге, которую я сейчас закончил, есть только одна глава, которая пойдет в архив.¹⁸ Это – глава о Троцком. Я сам не хочу ее печатать... Я встретился с ним в Вене в 1909 году.¹⁹ Он очень мне не понравился... авторитарностью, отношением к искусству... Я не хочу сейчас печатать эту главу потому, что мое отрицательное отношение к Троцкому сегодня может быть ложно истолковано. А все остальное хочу напечатать»,²⁰ однако после смерти Эренбурга эту главу в его архиве не обнаружили; скорей всего, она так и не была написана.

Работая над мемуарами, Эренбург старался сбить с толку цензуру. Так, рассказ о Б. В. Савинкове написан иначе, чем другие портретные главы, – он начинается с ряда эпизодов из жизни самого автора и поначалу вообще не кажется портретной главой. В воспоминаниях о Бухарине и Сокольникове речь идет только о годах юности героев (к рассказу об их дальнейшей судьбе Эренбург предполагал вернуться позднее).

¹⁶ П2. С. 480.

¹⁷ Слуцкий Б. О других и о себе / Сост., подгот. текста, примеч. Петра Горелика; вступ. статья Никиты Елисеева. – М., 2005. С. 206.

¹⁸ Эренбург имеет здесь в виду невозможность напечатания главы по причинам политическим. Когда 16-ю главу о Т. И. Сорокине прочла мать единственной дочери Эренбурга Ирины Е. О. Сорокина, которая в 1913 году ушла от Эренбурга к его другу Т. И. Сорокину, она попросила И. Г. не печатать эту главу при ее жизни, и он пошел ее просьбе навстречу (впервые гл. 16 напечатана в бесцензурном издании мемуаров 1990 года по решению уже И. И. Эренбурга).

¹⁹ Фрезинский Б. Я. Троцкий, Каменев, Бухарин: избранные страницы жизни, работы, судьбы. – М.: АИРО. XXI, 2015. С. 56–68.

²⁰ Сарнов Б. У времени в плену // Эренбург И. Г. Люди, годы, жизнь: в 3 т. Т. 1. – М.: Советский писатель, 1990. С. 16–17. Далее – ЛГЖ-90.

О новой работе писателя 9 апреля 1960 года сообщила «Литературная газета», напечатав главу о Ленине; предваряя эту публикацию, Эренбург писал: «Это глава из книги “Годы, люди, жизнь”, над которой я в настоящее время работаю». Название мемуаров изменилось позже; перестановка слов была принципиальной. Уже 4 июня 1960 года, публикуя главу об А. Н. Толстом, «Литературная газета» сообщила, что это отрывок из книги «Люди, годы, жизнь», которая целиком будет печататься в «Новом мире». Дело в том, что еще 25 апреля 1960 г. Эренбург в письме Твардовскому предложил для «Нового мира» первую книгу своих мемуаров.²¹ Заместитель Твардовского А. И. Кондратович вспоминал: «Эренбург писал, что начал большую работу над воспоминаниями, закончил уже первую книгу и видит, что нигде ее, кроме «Нового мира», он не сможет напечатать. Он просит А. Т. прочитать книгу, и если А. Т. что-то в ней не понравится, он не будет в обиде, если тот ее не примет к печати. А. Т. тотчас позвонил И. Г. и сказал, что немедленно пришлет курьера, а так как Эренбург жил недалеко от редакции, рукопись через 15 минут лежала у А. Т. на столе <...> Я не сказал бы, что А. Т. был в восторге от этих воспоминаний. Многие в них раздражали его, но он сразу же почувствовал значение мемуаров – и в творческой биографии самого Эренбурга, и вообще в нашей литературе. Это убеждение со временем крепло помимо всего прочего в силу изменения политического климата. Убежденный антисталинист, первый возвестивший наступление “оттепели”, Эренбург с похолоданием становился в этом, пожалуй только в этом, но зато в каком существенном отношении все ближе А. Т.»²²

Редакция «Нового мира», приняв рукопись в целом, категорически отказалась бороться за прохождение через цензуру главы о «врагах народа» Бухарине и Сокольникове,²³ предложив автору самому добиваться этого. К тому времени процесс реабилитации жертв сталинского террора уже буксовал, и реабилитация наиболее выдающихся сподвижников Ленина задерживалась. В этих условиях обращаться за разрешением имело смысл лишь к Хрущеву. Суть своей просьбы к нему Эренбург изложил в письме 8 мая 1960 года: «В журнале “Новый мир” начинают печатать мои воспоминания. В начале я рассказываю о моем скромном участии в революционном движении в 1906–1908 годах. Там я говорю о Бухарине и Сокольникове того времени – о гимназистах и зеленых юношах. Я решаюсь послать Вам эту главу и отчеркнуть те две страницы, которые без Вашего слова не могут быть напечатаны. Особенно мне хотелось бы упомянуть о Бухарине, который был моим школьным товарищем».²⁴ Одновременно Эренбург писал в сопроводительной записке референту Хрущева по вопросам культуры В. С. Лебедеву: «Из письма Никите Сергеевичу Вы увидите, в чем моя просьба. Может быть, даже не к чему показывать ему две страницы – я думаю сейчас о его времени. Может быть, Вам удастся просто спросить его в свободную минуту, могу ли я упомянуть в своих воспоминаниях восемнадцатилетнего Бухарина (это для меня наиболее существенно)».²⁵ Оба письма вручила В. С. Лебедеву секретарь Эренбурга Н. И. Столярова. Вот что она мне рассказала в 1975 году: «Лебедев прочел письмо и сказал, что у Никиты Сергеевича может быть свое мнение и он его не знает, но ему кажется, что не следует это печатать, т. к. Бухарин не реабилитирован, народ знает его как врага и вдруг прочтет, как тепло и душевно пишет о нем Илья Григорьевич, – все шишки повалятся на него. В интересах душевного спокойствия И. Г. не печатать этого сейчас. Конечно, если И. Г. будет настаивать, напечатают: ведь у нас цензуры нет, но это не в интересах И. Г. Прощаясь, Лебедев ска-

²¹ П2. С. 482.

²² Кондратович А. Новомировский дневник. 1967–1970. – М.: Собрание, 2011. С. 178.

²³ Они были реабилитированы только в самом конце 1980-х годов.

²⁴ П2. С. 482–483.

²⁵ П2. С. 483.

зал, что письмо он, разумеется, передаст».²⁶ Эренбург оценил лукавство Лебедева и понял, что реабилитация Бухарина в ЦК не готовится. Ответа на свое письмо от Хрущева или его сотрудников он не получил. Сообщить Твардовскому об этом было выше его сил, и Эренбург написал, что добровольно снимает те две страницы; вместо них в журнальном тексте появились слова: «Еще не настало время рассказать о всех моих товарищах по школьной организации. Рассажу сейчас о некоторых».²⁷

Шесть глав первой книги с апреля по август 1960 г. предварительно (до «Нового мира») публиковались в газетах и журналах. Это позволяло Эренбургу заранее сообщать своим читателям, как движется работа над мемуарами и что их ожидает впереди. Он был предусмотрителен, используя такую возможность оповещения читателей о ходе написания почти всех книг «Люди, годы, жизнь» вплоть до последней, седьмой, завершить которую не успел (о ней читатели узнали в 1967 году из предварительной публикации нескольких глав; знакомства со всем написанным ее текстом им пришлось ждать долгие 20 лет после смерти автора).

«Люди, годы, жизнь» не были анонсированы в «Новом мире» на 1960 год, но публикация первой книги в 8–10 номерах вызвала широкий читательский резонанс. А. И. Кондратович свидетельствует: «Читательский успех мемуаров был огромный. Номера в киосках раскупались тотчас же. Мы получали множество писем, но и мытарств с этими мемуарами мы хватили тоже сверх головы».²⁸ Советская критика (как ортодоксальная ее часть, так и, пользуясь современным словом, либеральная), ожидая дальнейших частей повествования, о первой книге высказаться не решилась; несколько доброжелательных рецензий появились разве лишь в провинциальной прессе. Готовя в 1961 г. первую книгу вместе со второй к отдельному изданию, Эренбург внес в нее ряд дополнений и исправлений. Сразу после публикации в «Новом мире» первая книга мемуаров Эренбурга была переведена во многих странах мира. Публикация мемуаров Эренбурга широко и подчас пристрастно обсуждалась в литературных кругах страны. Характерный эпизод приводит в своем дневнике 29 сентября 1960 г. писатель А. К. Гладков, еще не знакомый тогда с Эренбургом лично: «Спор о воспоминаниях Эренбурга. Н. Я. <Мандельштам. – Б. Ф.> бранит, и Коля <Оттен. – Б. Ф.> ее поддерживает (теория “малой пользы”, компромиссы и пр.). Я и Елена Михайловна <Фрадкина. – Б. Ф.> защищаем Эренбурга. А. С. Эфрон тоже говорит, что он написал “не так” о М. Цветаевой, а Н. Я. боится, что он “не так” напишет о Мандельштаме. Нашелся в стране человек, который пишет о Цветаевой и Мандельштаме и др., и сразу на него напустились, что “не так”...»²⁹

Книга вторая

Вторая книга мемуаров «Люди, годы, жизнь» рассказывает о событиях в России с июля 1917-го до весны 1921-го, когда Эренбург отправился в Париж, чтобы написать задуманный им роман о войне и революции. Читая эту книгу, вы следуете за Эренбургом по маршруту его нелегких и часто вынужденных перемещений в трудные времена (он сегодня покажется вполне соблазнительным): Петроград – Ялта – Коктебель – Москва – Киев – Полтава – Коктебель – Феодосия – Тифлис – Москва – Рига – Париж – Брюссель. В Киеве 13 августа 1919 года Илья Эренбург женился на своей двоюродной племяннице, молоденькой художнице

²⁶ Архив автора.

²⁷ Новый мир. 1960. № 8. С. 40.

²⁸ Кондратович А. Указ. соч. С. 179.

²⁹ Гладков А. Я не признаю историю без подробностей (из дневниковых записей 1945–1973) / Предисл. и публикация Сергея Шумихина // *In memoriam*: исторический сборник памяти А. И. Добкина. – СПб. – Париж, 2000. С. 549. Подробно об отношениях к мемуарам Эренбурга А. А. Ахматовой см.: Фрезинский Б. Я. Об Илье Эренбурге (книги, люди, страны). – М.: НЛО, 2013. С. 545–556; далее – Ф5 и номер страницы.

Любе Козинцевой, ставшей спутницей всей его жизни, о чем он с веселым изяществом написал во второй книге. В ней читатель знакомится и с главами о Брюсове и Цветаевой, Пастернаке и Маяковском, Волошине и Мандельштаме, Мейерхольде, Таирове и Дурове, о Есенине и Т. Табидзе. Повествование завершается рассказом о первом и, пожалуй, самом знаменитом романе Ильи Эренбурга «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников».³⁰

Эта книга писалась летом и осенью 1960 года. Уже напечатав первую часть мемуаров и приступив к работе над второй, Эренбург говорил Б. М. Сарнову: «С ней будет сложнее. Из нее дай бог чтобы мне удалось напечатать две трети. А треть пойдет в архив».³¹ 26 октября он сообщал Е. Г. Полонской: «Я кончил теперь вторую часть воспоминаний. Работа увлекательная, но печальная».³² Журнальная судьба первой книги к тому времени решилась положительно, и вторую Эренбург писал, также рассчитывая на публикацию в «Новом мире».

Рассказывая о событиях Гражданской войны, об эпохе военного коммунизма, о трагической судьбе своих современников, он не мог не считаться с цензурой. Многие страницы второй части написаны суше, дипломатичнее, чем первая книга, и тем не менее вторая часть «Люди, годы, жизнь» стала для тогдашних советских читателей заметным прорывом в осмыслении отечественной истории, недаром мемуары Эренбурга в течение последующих десятилетий в СССР оказались фактически под запретом.

Неканоническое изображение трагедии Гражданской войны, в которой случай разводил родных братьев под противоборствующие знамена, рассуждения о драме Маяковского, отказавшегося от искусства ради политики, впервые приведенные воронежские стихи Мандельштама, самое имя которого было неизвестно подавляющему большинству читателей, глава о Марине Цветаевой, книга стихов которой еще только готовилась к изданию, рассказ о Пастернаке-лирике в пору политического ostrакизма, вызванного присуждением ему Нобелевской премии за роман, – все это не могло не стать сенсацией в СССР начала шестидесятых годов.

Глава 9 под названием «Киев» была напечатана до «Нового мира» – 27 октября 1960-го в «Литгазете»; глава 11 – в № 10 журнала «Советская Украина»; глава 15 о Тифлисе – в «Лит. Грузии» № 1 за 1961-й, глава 19 под названием «Воспоминания о Мейерхольде» – в № 2 журнала «Театр» за 1961-й одновременно с «Новым миром» (в архиве Эренбурга сохранились также гранки не осуществившейся предварительной публикации 6-й и 7-й глав в «Литгазете»).

Беседуя поздней осенью 1960 года с журналистами, Эренбург говорил о своей работе: «Вторая книга будет опубликована в “Новом мире”. По-моему, она слабее первой. Отдал читать Твардовскому. Он позвонил на следующий день, сказал, что понравилась. Твардовский предупредил, что формально будет трудно “пробить” то, что я пишу о Пастернаке. А по существу его пугает Маяковский».³³ Лично у Твардовского обе главы не должны были вызвать возражения – он никогда не был поклонником Маяковского, а глава о Пастернаке написана достаточно взвешенно. Возражение против этой главы высказал лишь один член редколлегии журнала – очеркист Валентин Овечкин. Прочитав верстку первого номера за 1961 год, он 5 декабря 1960 года в письме Твардовскому³⁴ высказался против похвал Пастернаку-поэту и подверг сомнению правдивость рассказа о дружбе Пастернака с Маяковским. «Замечания твои по Эренбургу будут учтены и доведены до автора, – ответил ему Твардов-

³⁰ Этот скорее сатирический роман о войне и революции обдумывался Эренбургом начиная с 1916 г. и написан летом 1921-го в Бельгии за 28 дней; его полное название занимает страницу, напечатан он был впервые в Берлине в январе 1922 г., а в 1923-м издан в Москве с предисловием Н. И. Бухарина.

³¹ Сарнов Б. Указ. соч. С. 17.

³² П2. С. 490.

³³ Архив автора.

³⁴ Текст письма В. Овечкина см.: Север. 1979. № 10. С. 120.

ский. – Замечаний по нему можно было бы сделать и в десять раз больше, но учить Эренбурга поздно и невозможно, нужно считаться с таким, каким его бог зародил. Тем более что это – продолжение, а начало имеет успех у читателя, и все в целом имеет свою объективную ценность мемуарного свидетельства о пережитом при всем несовершенстве и порой претенциозности субъективного изложения».³⁵

Вторая книга была принята редакцией, однако цензура (та самая, существование которой в СССР отрицал³⁶ помощник Хрущева) категорически запретила главу о Пастернаке, и Твардовский сообщил автору, что напечатать ее не в его силах. Первый номер журнала за 1961 год (с 16 главами второй книги) вышел без главы о Пастернаке. Эренбург понимал, что запрещение не продиктовано «сверху», а объясняется инерционностью и перестраховкой аппарата ЦК, поэтому он принял решение добиваться публикации этой главы во втором номере журнала вместе с окончанием книги. Добиться этого можно было, лишь снова (после неудачи с «пробиванием» главы о молодых Бухарине и Сокольникове) обратившись к Н. С. Хрущеву. Как всегда в подобных случаях, Эренбург искал такие аргументы, которые могли убедить адресата. 19 января 1961 года он написал помощнику Хрущева В. С. Лебедеву: «Решаюсь Вас побеспокоить со следующим вопросом. В февральском номере журнала “Новый мир” печатается окончание второй части моей книги “Люди, годы, жизнь”. Одна глава из этой второй части встретила затруднения. Дело касается Пастернака. Я считаю его крупным лирическим поэтом и, вспоминая о первых годах революции, пишу о нем как о лирическом поэте. Мне кажется, что, поскольку недавно образовалась комиссия по литературному наследству Пастернака, в которую меня включили, у нас предполагается издать его избранные стихи. После всего происшедшего вокруг “Доктора Живаго” новое издание его стихов будет скорее понятным читателю, прочитавшему мою главу, посвященную Пастернаку-поэту... Опубликование главы будет, по-моему, скорее политически целесообразным, нежели “преступным”. Такой же точки зрения придерживается А. Т. Твардовский и вся редакционная коллегия журнала “Новый мир”. Однако редакция не может преодолеть возникшие затруднения, и я решил попросить Вас, если найдете это возможным, спросить мнение Никиты Сергеевича Хрущева».³⁷

Об этом мнении можно судить потому, что в № 2 «Нового мира» глава о Пастернаке была напечатана (под № 20 между главами о Москве 1920 года и о В. Л. Дурове; в отдельном издании мемуаров Эренбург вернул ее в начало второй части, но главу о Маяковском его вынудили пропустить вперед; только в издании 1990 года в соответствии с авторским замыслом глава о Пастернаке была напечатана перед главой о Маяковском). Отметим попутно, что критические слова Эренбурга о романе «Доктор Живаго» продиктованы его личным взглядом на книгу (в советской антипастернаковской вакханалии Эренбург никакого участия не принимал); при всех поворотах событий он неизменно говорил о «чудесных стихах», приложенных к роману.

Критика отреагировала на вторую книгу «Люди, годы, жизнь» не сразу. 19 мая 1961 года в газете «Литература и жизнь», которую тогда прозвали «Лижи», А. Дымшиц сделал заявку на принципиальный спор с Эренбургом от имени советского читателя, который «не согласится с той трактовкой ряда поэтов десятых и двадцатых годов, которая содержится в воспоминаниях И. Эренбурга, в его портретах М. Цветаевой, М. Волошина, О. Мандельштама, Б. Пастернака», с попыткой «реставрации модернистских представлений». Развернуто эта позиция была высказана на страницах кочетовского «Октября» в статье Дымшица

³⁵ Твардовский А. Т. Письма о литературе 1930–1970. – М., 1985. С. 210.

³⁶ Хотя еще с 1922 г. цензурой руководило Главное управление по делам литературы и издательств (Главлит), а с 1947 г. по-прежнему Главлитом СССР откровенно именовалось Главное управление по охране военных и государственных тайн в печати, ликвидированное лишь в конце 1991 г.

³⁷ П2. С. 495–496.

«Мемуары и история». «Большинство портретов И. Эренбургу не удалось, – говорилось в этой статье. – Не удалось потому, что живые черты, яркие и интересные штрихи и детали портретов писатель “подчинил” своим предвзятым, неверным эстетическим идеям».³⁸ Дымшиц решительно оспорил портрет Маяковского, эренбурговскую концепцию драмы поэта. («Так наводится тень на ясный облик Маяковского»), портрет А. Н. Толстого – «писателя такой высокой ясности»; «ставить талантливого, но все же второстепенного поэта Мандельштама <сегодня над этим посмеется большинство любящих русскую поэзию XX века. – Б. Ф.> в один ряд с такими гигантами, по-моему, просто неосмотрительно», – корил он Эренбурга. Отстаивая неприкосновенность догматов «истории советской литературы», Дымшиц вел с Эренбургом спор на поле марксистской *эстетики*; вместе с тем он демонстрировал готовность при случае перейти на поле сугубо *политическое*. Так, в заключение статьи он отметил, что в мемуарах не объяснены причины отхода Эренбурга от большевистской партии, недостаточно точно отражена политическая позиция автора в первые годы революции – речь-де следует вести не о блужданиях, а о вполне определенной – читай антисоветской – позиции. (Угроза политических обвинений была в полной мере реализована через некоторое время мастером этого жанра критиком В. Ермаковым). Статью Дымшица горячо поддерживали обе тогдашние советские литературные газеты; его единомышленники дорабатывали конкретные сюжеты (так, В. Назаренко в длинной статье сражался с опасной оценкой Эренбургом «буржуазной поэзии» О. Мандельштама).³⁹ Других точек зрения в советской прессе не было (с позиций ортодоксальной историко-литературной концепции Эренбург был незащитим, а применение иных литературных и политических критериев не позволялось). Мемуары Эренбурга тогда читали нарасхват, суждения были разные – восторженные, страстно-придирчивые, демагогические, апологетические и т. д., но на страницы советской печати 1961 года этот плюрализм читательских взглядов эпохи хрущевской оттепели выхода иметь не мог. Газетные материалы, несомненно, раздражали Эренбурга, но его огромная читательская почта неизменно поддерживала писателя, и он энергично продолжал работать – писать третью книгу.

В литературной среде вторая книга, как и первая, пользовалась повышенным вниманием. Особый интерес вызывали главы о гражданской войне и портретные главы о поэтах... Мы обсудим здесь краткий, неоднозначный, скорее даже критический отклик на начало второй книги мемуаров Эренбурга писателя Василия Гроссмана, перу которого принадлежит едва ли не важнейший реалистический роман, написанный в XX веке по-русски,⁴⁰ – достаточное основание, чтобы не обойти молчанием его отклик.

Суждение Гроссмана содержится в письме от 1 февраля 1960 года к его ближайшему другу, тогда известному читателям только как переводчик восточных поэтов, Семену Липкину. В нем Гроссман спросил: «Читал ли ты Эренбурга, в № 1 “Н<ового>М<ира>”?» и поделился своим впечатлением: «Читается с интересом, но в 70 лет можно бы подумать поглубже, поумней, посерьезней. Зато Мафусаилова мудрость⁴¹ в понимании того, что лъзя, а чего нельзя».⁴² Читая это язвительное замечание Гроссмана, надо помнить более позднее суждение Эренбурга: «Молодой польский писатель Федецкий как-то сказал, что я “минималист”: от людей, да и от лет требую малого <...> Очевидно “минималистами” люди становятся с годами. Однако возраст не все, и Василий Семенович оставался “максималистом” в пятьде-

³⁸ Октябрь. 1961. № 6. С. 194–198.

³⁹ Звезда. 1961. № 9. С. 195–202.

⁴⁰ Речь, понятно, идет о романах, авторство которых не вызывает сомнений.

⁴¹ Мафусаил – дед Ноя, проживший 969 лет (библ.).

⁴² Липкин С. Жизнь и судьба Василия Гроссмана. – М.: Книга. 1990. С. 71. Полностью все письма В. Гроссмана С. Липкину с не всегда точными комментариями см.: Знамя. 2016. № 6.

сят лет. Нельзя понять его судьбы, не оговорив прежде всего его суровой требовательности к другим и к себе».⁴³ Добавлю только, что приведенные слова из письма Гроссмана написаны всего за две недели до того, как сотрудники КГБ явились к нему домой и арестовали абсолютно все варианты рукописи романа «Жизнь и судьба», включая черновики, так как машинопись романа Гроссман беспечно передал журналу «Знамя», даже не допуская мысли, что оттуда по прочтении она будет прямоком передана в КГБ. Ему не хватило не то что «мафу-саиловой мудрости», а самого элементарного представления о том, как он выразился, «что нельзя, а чего нельзя», *немыслимо* напечатать в СССР 1961 года. И, не подскажи ему Липкин, что один комплект рукописи абсолютно необходимо спрятать, неизвестно вообще, какой бы стала судьба этой великой книги, напечатанной за границей по рукописи из тайника в 1980-м, а на родине автора – через четверть века после его смерти от рака, вызванного всем пережитым в 1961 году.

Упомянем также и высказывание рязанского учителя, через полтора года ставшего известным стране и миру писателем Солженицыным, записанное его тогдашней женой: «Что до мемуаров Эренбурга, то сначала Александр Исаевич высказывался о них очень резко: обвинял его в том, что он, мол, спорит с мертвецами и доказывает живым, будто он – честный, что он – гений, что он – очень умён. Но продолжение воспоминаний понравилось, и Солженицын писал друзьям, что Эренбург вспоминает “по-деловому” и с попыткой глубоко осмыслить Гражданскую войну. “Есть глубокие мысли, которые я нигде прежде не встречал. Интересны и многие портреты”...»⁴⁴

Книга третья

В третьей книге мемуаров «Люди, годы, жизнь» Илья Эренбург пишет о своей жизни в Берлине с поздней осени 1921 года, а затем – с осени 1924-го в Париже. Это было время его весьма успешной работы: в то время Берлин стал центром русской эмиграции, и жизнь в Германии, потерпевшей сокрушительное военное поражение и разоренной победителями, а потому и переносившей дику инфляцию, для русских эмигрантов, имевших средства существования в устойчивых валютах, была дешевой. В Берлине вмиг возникла масса русских издательств и изданий. Русская литература процветала. Эренбург вывез из Москвы немало своих рукописей и рукописей коллег, и одну за другой начал их печатать. Более того, будучи плодовитым и работоспособным автором, новые замыслы энергично реализовывал и сразу выпускал в свет (чаще всего в издательстве А. Г. Вишняка «Геликон»), причем некоторые его берлинские книжки (далеко не все!) пропускались в Советскую Россию, а случалось, там еще и переиздавались. Когда немецкая марка стабилизировалась, Франция как раз установила дипломатические отношения с СССР, и Эренбург с женой переехал в Париж.

Осуществление его дивного плана жить и работать на Западе, печатаясь по-русски как в Советской России, так и в Европе (разумеется, и в переводах), наталкивалось на два рода трудностей. Во-первых, на советскую цензуру, которая явно усиливалась – особенно с началом откровенного сворачивания НЭПа, когда стали прикрывать частные издательства. С конца же 1920-х годов советский цензурный пресс становится для книг Эренбурга почти непреодолимым – одни из них запрещаются на корню, другие выходят в изуродованном виде. Эренбург пытается обойти препоны, меняя темы и жанры книг, но – это не слишком ему помогает. Его ситуацию Евгений Замятин сгладил в 1931-м, прося у Сталина разрешения уехать за границу: «Илья Эренбург, оставаясь советским писателем, давно работает главным

⁴³ См. Т. 2 наст. изд. Кн. 5. Гл. 20.

⁴⁴ Решетовская Н. В споре со временем. – М.: АПН, 1975.

образом для европейской литературы – для переводов на иностранные языки...»⁴⁵ То, что Замятину казалось спасительным выходом из его безнадежного положения, для Эренбурга реально было драмой, требовавшей искать из нее выход. Оставаться действительно независимым художником можно было лишь не печатаясь в СССР. Это – не первый кризис, преодоленный в жизни Эренбургом, но мучительный, и о нем писатель решил рассказать в мемуарах подробнее, чем о собственных же политических ситуациях 1909 и 1918 годов.

В декабре 1931 года живший тоже в Париже близкий друг Эренбурга О. Г. Савич сообщал в Москву их общему приятелю писателю В. Г. Лидину: «Зубы лежат на полке и стучат о полку. Рядом лежат эренбурговские и тоже стучат. Стучит весь Монпарнас».⁴⁶ Эренбург вспоминал об этом не столь натуралистично: «Передышка, подаренная мне, как и всем людям моего поколения, подходила к концу. Еще не было бурь, но штиль уже казался неестественным. Друзья, приезжавшие из Советского Союза, рассказывали о раскулачивании, о трудностях, связанных с коллективизацией, о голоде на Украине. После поездок в Берлин я понял, что фашизм наступает и что его противники разъединены. <...> Возможно, что в прошлом бывали эпохи, когда художник мог отстаивать человеческое достоинство, не расставаясь ни на час с искусством. Наше время требовало от любого человека не вдохновенного костра, а повседневных жертв или отречения».⁴⁷ Весь 1931 год Эренбург искал выхода и, согласившись стать парижским корреспондентом «Известий», в 1932-м отправился по стройкам Урала и Сибири, чтобы написать *новую* книгу. Задача была нелегкая, но он ее решил и назвал роман по-библейски – «День второй». Ромен Роллан принял его сразу и горячо. В СССР он был тут же запрещен. В итоге Сталин, с рядом купюр, книгу в СССР разрешил. Так Эренбург стал советским писателем.⁴⁸ Об этом, а не о ликвидации партийной оппозиции и сокрушении Сталиным противников он так написал в мемуарах: «В 1931 году я понял, что судьба солдата не судьба мечтателя и что нужно занять место в боевом порядке. Я не отказывался от того, что мне было дорого, ни от чего не отрекался, но знал: придется жить сжав зубы, научиться одной из самых трудных наук – молчанию»⁴⁹... Эти слова потом ему долго припоминали, хотя Эренбург в 1934-м и начал *новую* жизнь...

Илья Эренбург приступил к третьей книге мемуаров зимой 1961 года. 21 февраля он сообщал Е. Г. Полонской в Ленинград: «Я пишу сейчас 3 часть (1921 и далее). Работа увлекает, но часто отрывают».⁵⁰ Ему удалось практически устраниться от текущей публицистической работы (за полгода написал всего две газетные статьи), но зарубежные поездки, связанные с общественно-политической деятельностью, участие в различных заседаниях – от этого уйти было невозможно; за те же полгода писатель четырежды был в Стокгольме, поскольку этот город многое значил в его личной послевоенной судьбе (в Стокгольме жила его последняя любовь – Лизлотта Мэр, и Эренбург не упускал ни одной возможности с ней повидаться, более того – он эти возможности старался множить).

Как и прежде, отдельные главы рукописи Эренбург давал на прочтение тем, кого мог считать экспертами – так, главы о Бабеле и Маркише читали их вдовы, главу о Юлиане Тувиме – его переводчик и биограф М. Живов, главу о берлинской эмиграции – Е. Лундберг, глава о Мейерхольде обсуждалась с А. К. Гладковым. На черновой рукописи – неизменные пометы ближайшего друга Эренбурга писателя Овадия Савича, неизменного читателя рукописи.

⁴⁵ Замятин Е. Я боюсь. Литературная критика. Публицистика. Воспоминания. – М.: Наследие, 1999. С. 172.

⁴⁶ Собрание автора.

⁴⁷ См. наст. том. Кн. 3. Гл. 30.

⁴⁸ О книге «День второй» см.: Ф5. С. 160–185; в 1991-м все купюры в издании «Дня второго» мной восстановлены.

⁴⁹ См. наст. том. Кн. 3. Гл. 30.

⁵⁰ П2. С. 498.

Летом 1961 года работа была завершена и передана в «Новый мир», где ее приняли вполне радушно. Предварительных отдельных публикаций третьей части практически не было. Политических купюр, сделанных по настоянию редакции, было немного, и они были восстановлены в издании 1990 года. Третья книга ушла в набор, а 12 августа 1961 года А. Т. Твардовский, прочтя верстку начала третьей книги, обратился к Эренбургу с большим письмом:

«Барвиха, 12 августа 1961

Дорогой Илья Григорьевич!

Простите, что с таким запозданием отзываюсь на продолжение Вашей книги, идущей в “Новом мире”, да и отзываюсь только на первую часть продолжения, верстку которой мне прислали сюда.

С неменьшим, а местами – с еще большим интересом, чем предыдущие, прочел эти страницы. Книга очевиднейшим образом вырастает в своем идейном и художественном значении. Могут сказать, что угол зрения повествователя не всегда совпадает с иными, может быть более точными, углами (они, эти “углы”, тем более правильны, чем дольше остаются вне применения), что сектор обзора у автора сужен особым пристрастием к судьбам искусства и людей искусства, – мало ли что могут сказать. Но этой Вашей книге, может быть, суждена куда большая долговечность, чем иным “эпохальным полотнам” “чисто художественного жанра”.

Первый признак настоящей большой книги – читательское ощущение необходимости появления ее на свет божий. Эту книгу Вы не могли не написать, а если бы не написали, то поступили бы плохо. Вот что главное и решающее. Это книга долга, книга совести, мужественного осознания своих заблуждений, готовности поступиться литературным престижем (порой, кажется, даже с излишком) ради более дорогих вещей на свете.

Словом, покамест Вы единственный из Вашего поколения писатель, переступивший некую запретную грань (в сущности, никто этого “запрета” не накладывал, но наша лень и трусость перед самими собой так любят ссылаться на эти “запреты”). При всех возможных, мыслимых и реальных изъянах Вашей повести прожитых лет Вам удалось сделать то, чего и пробовать не посмели другие.

Я не буду в этом письме говорить о том, что в частностях, текстуально, так сказать, мне особо нравится или не нравится в книге. Но как хорош Тувим, в которого я, кстати сказать, вчитался только после его смерти и увидел, что это поэт никак не менее, скажем, Блока и, может быть, еще теплее и демократичнее Блока. Хорош В. Незвал (жаль только, что Вы заставили его восторгаться плохим, крайне несамостоятельным Л. Мартыновым, но это дело Ваше). Хорош и Бабель, хотя страницы, посвященные памяти этого писателя, не обладают особой новизной содержания – был уже похожий Бабель у Паустовского и, кажется, у Вас же.

Но дело не в отдельных портретах, характеристиках, авторских отступлениях, – в книге есть магия глубокоискреннего высказывания – исповеди. Я, как прежде, считаю свою редакторскую роль в отношении этой Вашей работы весьма ограниченной, т. е. опять же не собираюсь просить Вас вспоминать о том, чего Вы не помните, и опускать то, чего Вы забыть не можете. Но мой долг просить Вас о другом: чтобы Вы учли реальные обстоятельства наших дней, просматривая эту верстку, и, по возможности, облегчили ее прохождение на известных этапах».⁵¹

Далее шли конкретные пожелания. Список этих замечаний Твардовский предварял словами: «Хочу Вам указать на такие места, которые, не будучи особо важными, обязатель-

⁵¹ ПЗ. С. 464–467.

ными для книги, в то же время наверняка могут повлечь на всю эту часть особо пристальное и требовательное внимание». Приведем некоторые из замечаний главного редактора журнала:

Например, такое:

«Уподобление Вами идей славянофилов, сменовеховцев, и тех и других вместе – нашим крайностям в борьбе против низкопоклонства перед Западом – уподобление неверное, поверхностное. По мне – бог с Вами, переучивать Вас я не собираюсь, но перед органами, стоящими над редакцией, попросту – цензурой – я не могу Вас здесь защитить».

Или:

«Мысль о “ножницах” между успехами технического прогресса и потерями в духовном, нравственном развитии человеческого общества в эпоху империализма бесспорна, но приравнение “другого” лагеря “первому” – недопустимо. Можно, я считаю, предъявлять счет и Советской власти по разным статьям, но на отдельном бланке, – это неперемнное условие».

Или:

«В двух-трех случаях, где возникает память “еврейской крови”, – очень, очень просил бы Вас уточнить адрес, куда обращен этот исторический упрек (в смысле опять же “отдельного бланка”)»...⁵²

Третья книга была напечатана в 9–11 номерах «Нового мира» за 1961 год (к тому времени издательство «Советский писатель» выпустило отдельным изданием первую и вторую части мемуаров). Большой критической волны третья книга не вызвала. Вообще из всех семи частей «Люди, годы, жизнь» третья имела самую легкую издательскую судьбу. В ней наибольшим нападкам подверглась глава о Ремизове; в специально посвященной ей статье «Неудавшееся воскрешение», напечатанной в журнале «Дон»,⁵³ утверждалось, что воспоминания Эренбурга приводят фактически к «оправданию ренегатства А. Ремизова», книги которого «заслуженно забыты народом» (до издания книг А. М. Ремизова в СССР оставалось еще почти 20 лет)...

В читательской почте «Нового мира», хранящейся в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ), сегодняшний исследователь найдет немало интересных документов эпохи, отражающих тогдашний политический и интеллектуальный уровень общества. «Новый мир» имел устойчивую репутацию журнала оппозиционного. С середины 1960-х годов постепенно начали формироваться два крыла этой оппозиции: либеральное и национал-патриотическое. Читатели «Нового мира» в большинстве своем принадлежали к либеральному крылу; именно идеями «социализма с человеческим лицом» так или иначе проникнуто множество читательских писем (сужу только по той, достаточно обширной, почте, которую в 1960–1967 годах порождали эренбургские мемуары) – при всем разбросе в остроте, точности, глубине и основательности высказываемых суждений. Процент критической почты «с другого берега» был незначительным, и редакция решительно возражала их авторам.⁵⁴

Политической буре вокруг мемуаров «Люди, годы, жизнь» разразиться еще только предстояло.

Борис Фрезинский

⁵² Почта Ильи Эренбурга. 1916–1967 / Изд. подгот. Б. Я. Фрезинским. – М.: Аграф, 2006. С. 464–466.

⁵³ Усенко Л. Неудавшееся воскрешение // Дон. 1962. № 6. С. 145–154.

⁵⁴ См. одно из таких откровенно антисемитских писем 1961 года о третьей книге мемуаров Эренбурга, а также информацию о его авторе и резкий ответ ей А. И. Кондратовича: Ф5. С. 362–368.

Книга первая

1

Давно мне хочется написать о некоторых людях, которых я встретил в жизни, о некоторых событиях, участником или свидетелем которых был; но не раз я откладывал работу: то мешали обстоятельства, то брало сомнение – удастся ли мне воссоздать образ человека, картину, с годами потускневшую, стоит ли довериться своей памяти. Теперь я все же сел за эту книгу – откладывать дольше нельзя.

Тридцать пять лет назад в одном из путевых очерков я писал: «Этим летом, в Абрамцеве, я глядел на клены сада и на покойные кресла. Вот у Аксакова было время, чтобы подумать обо всем. Его переписка с Гоголем – это неторопливая опись души и эпохи. Что оставим мы после себя? Расписки: “Получил сто рублей” (прописью). Нет у нас ни кленов, ни кресел, а отдыхаем мы от опустошающей суеты редакций и передних в купе вагона или на палубе. В этом, вероятно, своя правда. Время обзавелось теперь быстроходной машиной. А автомобилю нельзя крикнуть: “Остановись, я хочу разглядеть тебя поподробнее!” Можно только сказать про беглый свет его огней. Можно, – и это тоже исход, – очутиться под его колесами».

Многие из моих сверстников оказались под колесами времени. Я выжил – не потому, что был сильнее или прозорливее, а потому, что бывают времена, когда судьба человека напоминает не разыгранную по всем правилам шахматную партию, но лотерею.

Я был прав, сказав очень давно, что наша эпоха оставит мало живых показаний: редко кто вел дневник, письма были короткими, деловыми – «жив, здоров»; мало и мемуарной литературы. Есть на то много причин. Остановлюсь на одной, которая, может быть, не всеми осознана: мы слишком часто бывали в размолвке с нашим прошлым, чтобы о нем хорошенько подумать. За полвека множество раз менялись оценки и людей и событий; фразы обрывались на полуслове; мысли и чувства невольно поддавались влиянию обстоятельств. Путь шел по целине; люди падали с обрывов, скользили, цеплялись за колючие сучья мертвого леса. Забывчивость порой диктовалась инстинктом самосохранения: нельзя было идти дальше с памятью о прошлом, она вязала ноги. Ребенком я слышал поговорку: «Тому тяжело, кто помнит все» – и потом убедился, что век был слишком трудным для того, чтобы волочить груз воспоминаний. Даже такие потрясшие народы события, как две мировых войны, быстро становились историей. Издатели во всех странах теперь говорят: «Книги о войне не идут...» Одни уже не помнят, другие не хотят узнать о минувшем. Все смотрят вперед; это, конечно, хорошо; но древние римляне не зря обожествляли Януса. У Януса было два лица, не потому, что он был двуличным, как часто говорят, нет, он был мудрым: одно его лицо было обращено к прошлому, другое – к будущему. Храм Януса закрывали только в годы мира, а за тысячу лет это случалось всего девять раз – мир в Риме был редчайшим событием. Мое поколение не походило на римлян, но мы тоже можем пересчитать на пальцах более или менее спокойные годы. Однако, в отличие от римлян, мы, кажется, считаем, что о прошлом следует думать только в эпоху глубокого мира...

Когда очевидцы молчат, рождаются легенды. Мы иногда говорим «штурмовать бастилии», хотя Бастилию никто не штурмовал – 14 июля 1789 года было одним из эпизодов Французской революции; парижане легко проникли в тюрьму, где оказалось очень мало заключенных. Однако именно взятие Бастилии стало национальным праздником Республики.

Образы писателей, дошедшие до последующих поколений, условны, а порой находятся в прямом противоречии с действительностью. До недавнего времени Стендаль казался

читателям эгоистом, то есть человеком, поглощенным своими собственными переживаниями, хотя он был общительным и эгоизм ненавидел. Принято считать, что Тургенев любил Францию, ведь он там провел много времени, дружил с Флобером; на самом деле он не понимал и недолюбливал французов. Одни считают Золя человеком, познавшим различные соблазны, – автором «Нана»; другие, вспоминая его роль в защите Дрейфуса, видят в нем общественного деятеля, страстного трибуна; а тучный семьянин был на редкость целомудренным и, за исключением последних лет своей жизни, далеким от гражданских бурь, потрясавших Францию.

Проезжая по улице Горького, я вижу бронзового человека, очень заносчивого, и всякий раз искренне удивляюсь, что это памятник Маяковскому, настолько статуя не похожа на человека, которого я знал.

Прежде легендарные образы складывались десятилетиями, порой веками; теперь не только самолеты быстро пересекают океаны, люди мгновенно отрываются от земли и забывают о пестроте, о сложности ее рельефа. Иногда мне кажется, что некоторое потускнение литературы, которое во второй половине нашего века замечается почти повсеместно, связано с быстротой превращения вчерашнего дня в условность. Писатель очень редко изображает действительно существующих людей – такого-то Иванова, Дюрана или Смитса; герои романа – сплав, в который входят и множество встреченных писателем людей, и его собственный душевный опыт, и его понимание мира. Может быть, история – романист? Может быть, живые люди для нее прототипы, и она, переплавляя их, пишет романы – хорошие или плохие?..

Все знают, насколько разноречивы рассказы очевидцев о том или ином событии. В конечном счете, как бы ни были добросовестны свидетели, в большинстве случаев судьи должны положиться на свою собственную прозорливость. Мемуаристы, утверждая, что они беспристрастно описывают эпоху, почти всегда описывают самих себя. Если бы мы поверили в образ Стендаля, созданный его ближайшим другом Мериме, мы никогда бы не поняли, как мог светский человек, остроумный и эгоцентричный, описать большие человеческие страсти, – к счастью, Стендаль оставил дневники. Политическая буря, разразившаяся в Париже 15 мая 1848 года, описана Гюго, Герценом и Тургеневым; когда я читаю их записи, мне кажется, что речь идет о различных событиях.

Иногда разноречивость показаний диктуется несходством мыслей, чувствований, иногда она связана с самой обычной забывчивостью. Десять лет спустя после смерти Чехова люди, хорошо знавшие Антона Павловича, спорили, какие у него были глаза – карие, серые или голубые.

Память сохраняет одно, опускает другое. Я помню в деталях некоторые картины моего детства, отрочества, отнюдь не самые существенные; помню одних людей и начисто забыл других. Память похожа на фары машины, которые освещают ночью то дерево, то сторожку, то человека. Люди (особенно писатели), рассказывающие стройно и подробно свою жизнь, обычно заполняют пробелы догадками; трудно отличить, где кончаются подлинные воспоминания, где начинается роман.

Я не собираюсь связно рассказать о прошлом – мне претит мешать бывшее в действительности с вымыслом; притом я написал много романов, в которых личные воспоминания были материалом для различных домислов. Я буду рассказывать об отдельных людях, о различных годах, перемежая запомнившееся моими мыслями о прошлом. Видимо, это будет, скорее, книга о себе, чем об эпохе. Конечно, я расскажу о многих людях, которых знал, – о политических деятелях, о писателях, о художниках, о мечтателях, об авантюристах; имена некоторых из них известны всем; но я не беспристрастный летописец, и это будут только попытки портретов. Да и события, большие или незначительные, я попытаюсь описать не

в их исторической последовательности, а в их связи с моей маленькой судьбой, с моими сегодняшними мыслями.

Я никогда не вел дневников. Жизнь была, скорее, беспокойной, и мне не удалось сохранить письма друзей – сотни писем пришлось сжечь, когда фашисты оккупировали Париж; да и потом письма, скорее, уничтожались, чем хранились. В 1936 году я написал роман «Книга для взрослых»; он отличается от других моих романов тем, что в него вставлены главы мемуарного характера. Кое-что я возьму из этой давней книги.

Некоторые главы я считаю преждевременным печатать, поскольку в них речь идет о живых людях или о событиях, которые еще не стали достоянием истории; постараюсь ничего сознательно не исказить – забыть про ремесло романиста.

Камень всегда холоден, по своей природе он отличен от человеческого тела, но с древнейших времен скульпторы брали мрамор, гранит или же металл – бронзу – для изображения человека. Только когда перед ними вставляли декоративные замыслы, они прибегали к дереву, хотя, конечно, дерево куда ближе к плоти. Камень прельщал потому, что он труден для работы, притом он долговечен. В различных музеях стоят вереницы каменных статуй; многие из них прекрасны, все они холодны. Но порой статуя теплеет, оживает от глаз посетителя музея. Мне хотелось бы любящими глазами оживить несколько окаменелостей былого; да и приблизить себя к читателю: любая книга – исповедь, а книга воспоминаний – это исповедь без попыток прикрыть себя тенями вымышленных героев.

2

Я родился в Киеве 14 января 1891 года. 1891-й – эта цифра хорошо памятна русским людям да еще французским виноделам. В России был голод; двадцать девять губерний поразил недород. Лев Толстой, Чехов, Короленко пытались помочь голодающим, собирали деньги, устраивали столовые; все это было каплей в море, и много спустя девяносто первый называли «голодным годом». Французские виноделы разбогатели на вине того года: засуха сжигает хлеба и повышает качество винограда; черные даты для крестьян Поволжья неизменно совпадают с радостными датами для бургундских и гасконских виноделов; еще в двадцатых годах нашего века знатоки разыскивали вина, помеченные цифрой «1891». В 1943 году из Ленинграда вывезли в Москву по «ледяной дороге» вагон со старым «Сент-Эмилион» 1891 года. Самтрест попросил А. Н. Толстого и меня проверить качество спасенного вина. В бутылках оказалась кисловатая водица – вино умерло (вопреки распространенной легенде, вино, даже самое лучшее, умирает в возрасте сорока-пятидесяти лет).

1891 год... Какой далекой кажется теперь эта дата! Россией правил Александр III. На троне Великобритании сидела императрица Виктория, хорошо помнившая осаду Севастополя, речи Гладстона, усмирение Индии. В Вене благополучно царствовал Франц-Иосиф, вззошедший на престол в памятном 1848 году. Еще жили герои драм и фарсов прошлого столетия – Бисмарк, генерал Галифе, известный дипломат царской России Игнатьев, маршал Мак-Магон, Фогт, известный нашим студентам благодаря памфлету Карла Маркса. Еще жил Энгельс. Еще работали Пастер и Сеченов, Мопассан и Верлен, Чайковский и Верди, Ибсен и Уитмен, Нобель и Луиза Мишель. В 1891 году умерли Рембо и Гончаров.

Если представить себе сейчас 1891 год, мир внешне настолько изменился, что кажется, прошла не одна человеческая жизнь, а несколько столетий. Париж обходился без световых реклам и без автомобилей. О Москве говорили «большая деревня». В Германии доживали свой век романтики, влюбленные в липы и в Шуберта. Америка была далеко, за тридевять земель.

Не было еще на свете ни Жолио-Кюри, ни Ферми, ни Маяковского, ни Брехта, ни Элюара. Гитлеру было два года. Мир казался успокоившимся: никто не воевал; Италия только присматривалась к Эфиопии, Франция готовилась захватить Мадагаскар. Газеты рассуждали о визите французского флота в Кронштадт: очевидно, Тройственному союзу будет противопоставлен франко-русский союз; любители потолковать о высокой политике говорили, что «мир спасет европейское равновесие».

Россия была еще неподвижной, Александр III, разгромив «Народную волю», несколько успокоился. Правда, первого мая в Петербурге была маленькая маевка. Правда, в Самаре Ленин читал Маркса. Но могло ли это смутить всемогущего царя? Он преспокойно приложил руку к козырьку, когда во время визита французских кораблей оркестр исполнил «Марсельезу». Он удовлетворенно говорил: вот уже заложена Великая сибирская магистраль, скоро можно будет в поезде доехать из Иркутска до Москвы...

Первое мая было внове. В рабочем поселке Фурми на севере Франции в 1891 году полиция расстреляла первомайскую демонстрацию. Газеты писали: «Зловещие тени коммунаров оживают».

В Германии был торжественно учрежден «Пангерманский союз». Там много говорили о жизненном пространстве, о миссии Германии, о грядущих походах, и отцы будущих эсэсовцев кричали «гох».

Жорес писал, что победят не палачи Фурми, а рабочие, интернационалисты, защитники прав человека.

Нет, уж не так далек 1891 год: заваривалась та каша, которую наше поколение долго, старательно расхлебывало. Жизнь каждого человека извилиста и сложна, но, когда глядишь на нее с высоты, видишь, что есть в ней своя скрытая прямая линия. Люди, которые родились в тишайшем 1891 году, когда был голод в России и замечательное вино во Франции, должны были увидеть много революций, много войн, Октябрь, спутники Земли, Верден, Сталинград, Освенцим, Хиросиму, Эйнштейна, Пикассо, Чаплина.

Четырнадцатого января 1891 года, в тот самый день, когда в Киеве на крутой Институтской улице, идущей от Крещатика вверх к Липкам, мне суждено было увидеть свет, Антон Павлович писал своей сестре из Петербурга: «Меня окружает густая атмосфера злого чувства, крайне неопределенного и для меня непонятного. Меня кормят обедами и поют мне пошлые дифирамбы и в то же время готовы меня съесть. За что? Черт их знает. Если бы я застрелился, то доставил бы этим большое удовольствие девяти десятым своих друзей и почитателей. И как мелко выражают свое мелкое чувство! Буренин ругает меня в фельетоне, хотя нигде не принято ругать в газетах своих же сотрудников...» Вот что говорил Буренин о Чехове: «Подобные средние таланты разучаются прямо смотреть на окружающую их жизнь и бегут, куда глаза глядят...» Антон Павлович в январе 1891 года начал писать повесть «Дуэль». Я часто перечитываю Чехова и вот недавно снова перечитал «Дуэль». Конечно, на ней есть печать времени. Герой Лаевский, томясь в захолустье, мечтает, как он вернется в Петербург: «Пассажиры в поезде говорят о торговле, новых певцах, о франко-русских симпатиях; всюду чувствуется живая, культурная, интеллигентная, бодрая жизнь...» Но о франко-русском сближении или о развитии торговли я знаю и без «Дуэли». Перечитывая повесть, я задумался о другом – о своей жизни.

Лаевский – слабый человек, запутавшийся и доведенный до отчаяния: «Он столкнул с неба свою тусклую звезду, она закатилась, и след ее смешался с ночною тьмой; она уже не вернется на небо, потому что жизнь дается только один раз и не повторяется. Если бы можно было вернуть прошлые дни и годы, он ложь в них заменил бы правдой, праздность – трудом, скуку – радостью...» Свихнувшегося Лаевского обличает фон Корен, человек точных знаний и очень неточной совести. «Так как он неисправим, то обезвредить его можно только одним способом... В интересах человечества и в своих собственных интересах такие люди должны быть уничтожаемы. Непременно... Я не настаиваю на смертной казни. Если доказано, что она вредна, то придумайте что-нибудь другое. Уничтожить Лаевского нельзя, ну так изолируйте его, обезличьте, отдайте в общественные работы... А если горд, станет противиться – в кандалы!.. Мы должны сами позаботиться об уничтожении хилых и негодных, иначе, когда Лаевские размножатся, цивилизация погибнет». А вот что думает о беспощадном стороннике прогресса и естественного отбора бедняга Лаевский: «И идеалы у него деспотические. Обыкновенные смертные, если работают на общую пользу, то имеют в виду своего ближнего: меня, тебя, одним словом, человека. Для фон Корена же люди – щенки и ничтожества, слишком мелкие для того, чтобы быть целью его жизни. Он работает, пойдет в экспедицию и свернет себе там шею не во имя любви к ближнему, а во имя таких абстрактов, как человечество, будущие поколения, идеальная порода людей... А что такое человеческая порода? Иллюзия, мираж... Деспоты всегда были иллюзионистами».

В конце повести Лаевский, а с ним вместе Чехов думают, глядя на разбушевавшееся море: «Лодку бросает назад, делает она два шага вперед и шаг назад, но гребцы упрямы, машут неутомимо веслами и не боятся высоких волн. Лодка идет все вперед и вперед, вот уже ее и не видно, а пройдет с полчаса, и гребцы уже увидят пароходные огни, а через час будут уже у пароходного трапа. Так и в жизни... В поисках за правдой люди делают два шага вперед, шаг назад. Страдания, ошибки и скука жизни бросают их назад, но жажда правды и упрямая воля гонят вперед и вперед. И кто знает? Может быть, доплывут до настоящей правды».

«Дуэль» Чехов, как я уже говорил, начал писать в январе 1891 года. Оглядываясь на свою жизнь, я вижу, что есть связь между моими мыслями, надеждами, сомнениями и тем, что волновало Антона Павловича, когда меня еще не было на свете. Я в жизни встречал много фон Коренов, я часто блуждал, ошибался и, как Лаевский, горевал о тусклой звезде, которую столкнул с неба, и, как тот же Лаевский, восхищался гребцами, борющимися с высокими волнами. Теперь далекие континенты сделались пригородом. Луна и та стала как-то ближе. Но прошлое от этого не потеряло своей силы, и если человек за одну жизнь много раз меняет свою кожу, почти как костюмы, то сердца он все же не меняет – сердце одно.

3

Говорят, что яблоко падает неподалеку от яблони. Бывает так, бывает и наоборот. Я жил в эпоху, когда о человеке часто сулили по анкете; в газетах писали, что «сын не отвечает за отца», но порой приходилось отвечать и за дедушку.

Вряд ли и о деде можно судить по внукам. Несколько лет назад я прочитал в газете «Монд» статью о внуках и правнуках Л. Н. Толстого; их около восьмидесяти, и разбрелись они по всему свету: один – офицер американской армии, другой – итальянский тенор, третий – агент французской авиационной компании.

Поэт Фет, Афанасий Афанасьевич Шеншин, кроме хороших стихов, писал нехорошие статьи в журнале Каткова. Он обличал нигилистов и евреев, в которых видел первопричину зла. Племянник Фета, Н. П. Пузин, рассказывал мне, что поэт узнал из письма – завещания своей покойной матери, – что его отцом был гамбургский еврей. Мне рассказывали, будто Фет завещал похоронить письмо вместе с ним, – видимо, хотел скрыть от потомства правду о своей яблоне. После революции кто-то вскрыл гроб и нашел письмо.

Иван Сергеевич Тургенев вспоминал: «Я родился и вырос в атмосфере, где царили подзатыльники, пинки, колотушки, пощечины и пр., но, по правде сказать, окружающая меня обстановка не привила мне вкуса к кулачной расправе. Я никогда никого не бил». Тургенев сделал из своей дочки Пелагеи Полину, выдал ее замуж за владельца стеклянной фабрики г-на Гастона Брюэра и написал Анненкову: «Хлопот было пропасть, но я вознагражден, вполне убежден тем, что дочь моя будет счастлива». (Вслед за этим Иван Сергеевич начал писать «Дым», в котором показывал страдания замужней женщины).

О моих родителях я вспоминаю с любовью; но, оглядываясь назад, я вижу, как далеко откатилось яблоко от яблони.

Я родился в буржуазной еврейской семье. Мать моя дорожила многими традициями: она выросла в религиозной семье, где боялись и бога, которого нельзя было называть по имени, и тех «богов», которым следовало приносить обильные жертвоприношения, чтобы они не потребовали кровавых жертв. Она никогда не забывала, ни о Судном дне на небе, ни о погромах на земле. Отец мой принадлежал к первому поколению русских евреев, попытавшихся вырваться из гетто. Дед его проклинал за то, что он пошел учиться в русскую школу. Впрочем, у деда был вообще крутой нрав, и он проклинал по очереди всех детей; к старости, однако, понял, что время против него, и с проклятыми помирился.

Если предположить, что яблоней был дед, то и от этой яблони яблоки разлетелись в самые разные стороны. Один из моих дядюшек разбогател; звали его Лазарем Григорьевичем, и жил он в Харькове. Его сын, мой двоюродный брат, Илья, стал социал-демократом, долго просидел в Лукьяновской тюрьме, эмигрировал в Париж, там занялся живописью, а во время гражданской войны пошел в Красную Армию и был убит белыми. Брат Лазаря, Борис Григорьевич, жил в Иркутске, служил на каком-то предприятии, принадлежавшем киевскому богачу Бродскому. Борис Григорьевич был человеком легкомысленным, он растратил деньги Бродского и удрал в Америку, написав хозяину письмо скорее вызывающее, нежели виноватое. Бродский рассердился и напечатал в газетах объявление, что уплатит вознаграждение тому, кто поможет разыскать растратчика. Я тогда жил в Париже, и ко мне несколько раз обращались люди, мечтавшие разбогатеть на следе беглого Эренбурга. Как-то Лазарь Григорьевич играл с Бродским в карты, выиграл крупную сумму и вместо денег потребовал, чтобы Бродский отказался от претензий к своему иркутскому служащему. Младший из дядюшек, Лев, писал стихи и содержал бродячий цирк. Если отнести теорию В. Шкловского о том, что наследниками являются не сыновья, а племянники, не к литературным жанрам, а к людям, то я могу сказать, что пошел по пути моего дядюшки Льва. Помню

книгу, которую он сам издал, называлась она неоригинально – «Мечты и звуки»; в ней были и собственные стихи, и переводы Гейне. Я в ту пору не чувствовал никакого влечения к поэзии, но дядя Лева мне нравился тем, что не походил на приличного родственника. Раз он стал показывать мне фотографии полуголых девушек – набирал актеров для цирка; моя мать возмутилась: как можно развращать ребенка? Однажды в Харькове появились плакаты «Цирк Эренбурга», и Лазарю Григорьевичу пришлось дать своему брату отступные, чтобы цирк тотчас покинул город.

Когда мне было пять лет, мои родители переехали из Киева в Москву. Хамовнический пивоваренный завод номинально принадлежал акционерному обществу, а фактически тому же киевскому Бродскому, и мой отец получил место директора завода.

Это было в 1896 году, а в 1903 году Бродский решил прогнать отца. Мать, сглатывая слезы, слушала у закрытой двери кабинета, где происходило годовичное собрание правления, как отец настойчиво просил освободить его от должности. Я тоже слушал и ничего не понимал – знал, что отца прогоняют, что дела теперь плохи, что Бродский упрям, и вдруг услышал, как отец уверял, что он больше не может работать на заводе. Это был первый урок дипломатии...

Днем отец работал, вечером редко бывал дома. Иногда к нему приходили приятели, помню одного – веселого инженера Лихачева. Как-то в кабинете отца я увидел книжку Гиляровского с надписью «Дорогому Гри Гри на память о многом». Мне показалось, что у отца интересная жизнь, в которую он меня не посвящает. Он уезжал в «Охотничий клуб», и это название мне представлялось таинственным: егеря, олени, борзые. Потом я понял, что в клубе играют в винт, и усомнился в том, что жизнь отца интересна. Мне было лет десять, когда он повел меня в ресторан на Неглинной; мы сидели в отдельном кабинете, но я то и дело убегал – смотрел, что происходит в зале; там сидели обыкновенные люди и жевали котлеты. Жизнь отца перестала меня интриговать.

Мать была доброй, болезненной, суеверной; она страдала легкими, куталась, редко выезжала из дому, возилась с сестрами, со мной, писала по-еврейски длинные письма многочисленной родне. В Судный день она постилась. Меня пугала большая свеча, которую мать зажигала с утра в годовщину смерти своей свекрови. В спальне всегда пахло лекарствами; часто приходили врачи. Мать хотела, чтобы они выслушали и меня – у меня были слабые легкие, но я прятался, убегал. Иногда к матери приезжала пышная дама Фамилиант со своими сыновьями Петей и Мишей; они чинно ели пирожные и по просьбе взрослых декламировали стихи Пушкина. Я их считал дураками, а мать говорила: «Вот погляди, Петя и Миша – хорошие дети. А ты?..»

Меня избаловали, и, кажется, только случайно я не стал малолетним преступником. Мне было девять лет, когда мать уехала лечиться в Эмс, а меня и сестер отправила в Киев к своему отцу.

Дед по матери был благочестивым стариком с окладистой серебряной бородой. В его доме строго соблюдались все религиозные правила. В субботу нужно было отдыхать, и этот отдых не позволял взрослым курить, а детям проказничать. (Еврейская суббота столь же уныла, как английское пуританское воскресенье). В доме деда мне было всегда скучно, и я пакостил, как мог. В то лето мы жили на даче в Боярке. Я изводил всех; как-то меня решили наказать – заперли в чулан, где держали уголь. Я разделся догола и начал кататься по полу. Когда дверь открыли, кухарка в ужасе крикнула: «Ой же черт!..» Я решил отомстить, ночью принес бутылку с керосином и попробовал поджечь дачу.

На следующее лето мать взяла меня с собой в Эмс. Я изводил курортников: передразнивал дряхлого графа Орлова-Давыдова, звал его «Шамом», потому что он все время шамкал; мешал англичанке заниматься рыбной ловлей – камешками отгонял рыбу; уносил букеты

незабудок, которые немцы клали у памятника «старому кайзеру». Курортные власти попросили мать уехать, если она не в силах меня уговорить.

Я блестяще выдержал экзамены в подготовительный класс, потом в первый: знал, что существует «процентная норма» и что меня примут только в том случае, если у меня будут одни пятерки. Я решил задачу, не сделал ни одной ошибки в диктанте и с чувством продекламировал «Поздняя осень. Грачи улетели...».

Один приятель рассказывал мне – это было в начале тридцатых годов, – как его маленький сын, вернувшись из школы, куда только поступил, спросил отца: «Что такое еврей?» – «Я еврей, – ответил отец, – мама еврейка». Это было настолько неожиданно, что малыш не поверил: «Вы я-еврей?» Мы были лучше подготовлены; в восемь лет я хорошо знал, что есть черта оседлости, право жительства, процентная норма и погромы.

Рос я в Москве, играл с русскими детьми. Когда родители хотели что-либо скрыть от меня, они говорили друг с другом по-еврейски. Никакому богу – ни еврейскому, ни русскому – я не молился. Слово «еврей» я воспринимал по-особому: я принадлежу к тем, кого положено обижать; это казалось мне несправедливым и в то же время естественным. Отец мой, будучи неверующим, порицал евреев, которые для облегчения своей участи принимали православие, и я с малых лет понял, что нельзя стыдиться своего происхождения. Я где-то прочитал, что евреи распяли Христа; дядя Лева говорил, что Христос был евреем; няня Вера Платоновна мне рассказывала, что Христос поучал: когда тебя бьют по одной щеке, подставляй другую. Мне это было не по душе. Когда я пришел впервые в гимназию, какой-то пригостишка начал петь: «Сидит жидок на лавочке, посадим жида на булавочку». Не задумываясь, я ударил его по лицу. Вскоре мы с ним подружились. Никто больше меня не обижал.

В классе нас было три еврея – Зельдович, Цукерман и я; никогда мы не чувствовали себя чужаками. Вот только товарищи нам завидовали, когда во время уроков закона божьего мы шлялись по двору...

Мне не привелось в Москве моего детства и отрочества столкнуться с юдофобством. Наверно, среди преподавателей или родителей моих товарищей были люди, зараженные расовыми предрассудками, но они не выдавали себя: антисемитизма в те времена интеллигенты стыдились, как дурной болезни. Помню рассказы о кишиневском погроме – мне было двенадцать лет; я понимал, что произошло нечто ужасное, но я знал, что повинны в этом царь, губернатор, городовые, знал, что все порядочные люди против самодержавия, что Толстой, Чехов, Короленко возмущены погромом. Когда я приезжал в Киев, я слышал, что «Киевлянин» призывает к расправам, что на Подоле неспокойно, что существует «проклятый еврейский вопрос».

Странное было время: множество мерзости и множество иллюзий! Судьба одного невинно осужденного французского офицера, Дрейфуса, взволновала лучших людей Европы... «Если у тебя не будет высшего образования, ты не сможешь жить в Москве», – говорил мне отец, глядя на двойки в балльнике. Я усмехался: до того, как я кончу гимназию, все на свете переменится! Мне казалось, что антисемитские статьи в «Киевлянине» или в «Московских ведомостях» – последние отголоски средневекового изуверства; менее всего я мог себе представить, что в книге о прожитой жизни мне придется посвятить столько горьких страниц тому вопросу, который в начале века мне казался пережитком, обреченным на смерть.

А отец возмущался двойками. Первые два года я учился хорошо, потом мне надоело решать задачи с бассейнами. Я тихонько выносил из дома сочинения классиков в роскошных переплетах, сбывал их букинистам на Волхонке, а на вырученные деньги в магазине «Новые изобретения», помещавшемся в Столешниковом переулке, покупал чихательный порошок, чесательную пудру, коробочки, из которых выскакивали резиновые мыши или змеи, шутихи, – изводил ими в гимназии учителей.

Еще до поступления в подготовительный класс я декламировал «Демона». Слава поэта меня не соблазняла, я хотел стать не Лермонтовым, а Демоном и кружить над Хамовниками; называл себя «духом изгнания», разумеется, не понимая, что это значит. Вскоре стихи мне надоели, я увлекся химией, ботаникой, зоологией, сидел над микроскопом, производил опыты с вонючими порошками, завел лягушек, ящериц, тритонов. Как-то гады разбежались по всей квартире; неизвестно откуда шло зловоние – это главный тритон сдох под шкафом матери.

Наслушавшись разговоров о героизме буров, я сначала написал письмо бородатому президенту Крюгеру, а потом, стащив у матери десять рублей, отправился на театр военных действий. Ночью меня поймали, и я не любил вспоминать о злополучном начинании.

Смена календарных дат всегда волнует, и вот менялась цифра не года, а столетия. (В действительности девятнадцатый век прожил больше положенного – он начался в 1789 году и кончился в 1914–м). Все говорили о «конце века», загадывали, каким будет новый. Помню встречу 1901 года. К нам приехали ряженые в масках. Один был в костюме китайца, я узнал в нем весельчака инженера Гиляя, его схватил за косу. Ряженые изображали страны Европы, венгерец танцевал чардаш, испанка щелкала кастаньетами, и все кружились вокруг китайца – в Пекине в ту зиму шли бои. Все также пили «за новый век»; не думаю, чтобы кто-нибудь из них догадывался, каким будет этот век и за что именно они пьют среди сугробов Москвы.

Я был тогда учеником второго параллельного класса Первой гимназии. Помню, что я организовал небольшую группу «боксеров» – так называли восставших китайцев. Мы дрались ремнями и пускали в ход медные пряжки, хотя джентльменское соглашение этого не допускало: начинался двадцатый век.

Я совсем отбилась от рук: мои проделки становились несносными. Отца дома не бывало, а мать и сестры не могли со мной справиться; на подмогу они звали дворника, моего тезку Илью, который топил у нас печи. Раз я бросился на Илью с ножиком, он меня побаивался.

Но вот нашлась и на меня управа в лице студента-юриста Михаила Яковлевича Имханицкого. Все удивлялись, почему я его слушаюсь, ведь он меня никогда не наказывал. Михаила Яковлевича поселили у нас в доме. Я при нем готовил уроки, и, когда я правильно решал задачу на проценты, он мне давал тянучки – я был сластеной. Бумажки я кидал на пол; он иногда спрашивал: «А где бумажки?» Я глядел на пол, бумажек не было. Михаил Яковлевич посмеивался. Никому я не рассказывал о таинственных тянучках. Я боялся глаз Михаила Яковлевича; когда он глядел на меня, я быстро отворачивался. Родители считали, что он превосходный педагог.

Летом на даче в Сокольниках у нас гостила подруга одной из моих сестер – Леля Головинская. Она приглянулась Михаилу Яковлевичу. Тогда в моде были разговоры о гипнотизме. Студент объявил, что умеет гипнотизировать; он усыпил Лелю и сказал ей, что она должна через три дня поздно вечером приехать к нему на дачу. Домашние негодовали. Михаил Яковлевич спокойно уложил свои вещи в чемодан и рассказал, что он меня гипнотизировал, обеспечив этим общее спокойствие в течение полутора лет.

Меня повезли к профессору Рыбакову – кто-кто сказал матери, что я могу навсегда лишиться воли. Несколько лет спустя, увидав на Пречистенском бульваре Михаила Яковлевича, я бросился от него бегом. Прошли годы. В 1917 году, возвращаясь из Парижа на родину, в Стокгольме, в русском консульстве, я увидел толстого, низкорослого человека, который сказал мне: «Не узнаете? Имханицкий». Я удивился: у него были самые обыкновенные, даже маловыразительные глаза.

Но о вымышленных тянучках я часто вспоминал. Думаю, что потом не раз меня заставляли решать трудные задачи и платили мне за это тянучками, которых в действительности не

было. Только потом никто не поил меня соленым бромом и никто не боялся, что я потеряю волю. Воля, пожалуй, стала обременительным свойством.

Дома мне было скучно. Приходили гости, говорили, что у сестер Кристман удивительная колоратура, что адвокат Лабори произнес потрясающую речь в защиту невинного Дрейфуса, что в Москве открылся ресторан с отдельными кабинетами в мавританском стиле, что некая мадам Мальбранш привезла из Парижа новые модели шляп. Говорили также о премьере комедии Зудермана, об открытии Художественного общедоступного театра, о погромах, о письме Толстого, о красноречии адвоката Плевако, который может добиться оправдания самого жестокого убийцы, о фельетонах Дорошевича, высмеивающего «отцов города», о каких-то сумасшедших декадентах, уверяющих, будто существуют «бледные ноги».

Заводской двор мне казался куда интереснее гостиной, где стояли пыльные пальмы в кадках, а на стене висела копия картины, изображавшая Ломоносова, который едет в Москву учиться. Можно было пойти в конюшню, там чудесно пахло, и я знал характер каждой лошади. Можно было прятаться в сорокаведерных бочках. В одном из цехов проверяли бутылки, ударяя по каждой металлической палочкой, и я считал, что эта музыка куда лучше той, которой порой нас потчевали гости – известные пианисты.

Рабочие спали в душных полутемных казармах на нарах, покрытые тулупами; они пили кислое, испорченное пиво, иногда играли в карты, пели, сквернословили. Среди них было мало грамотных, а грамотеи читали по складам хронику происшествий в «Московском листке». Помню еще забаву: рабочие облили керосином крысу, и огненная крыса металась в кругу. Я видел жизнь нищую, темную, страшную, и меня потрясала несовместимость двух миров: вонючих казарм и гостиной, где умные люди говорили о колоратуре.

Неподалеку от завода, на Девичьем поле, на масляной устраивали гулянья с балаганами. Помню пожилого человека с лицом, обсыпанным мукой, который, кривляясь, кричал: «Уж я американец, станцюю всякий танец!..»

Я писал под диктовку рабочих письма в деревню, писал про харчи, про болезни, про свадьбы и похороны.

Одна стена завода граничила с сумасшедшим домом. Я взбирался на стену и глядел: истощенные люди в халатах шагали по дворику, где валялась всяческая рухлядь; иногда служитель кидался на больного, и тот истошно кричал.

На заводе работали специалисты – чешские пивовары. Рабочие их называли «немцами» – они, например, ели голубей, а это всеми порицалось. Сын пивовара Кары убил колуном мать и двух сестер – он решил поднести дорогое кольцо московской львице, а родители не давали ему денег. Помню обрывки фраз: «Плавают в крови... хотел взять пятьсот рублей... влюбился по уши...» Конечно, все поносили убийцу, а я вспоминал молодого тщедушного сына пивовара и про себя думал, что взрослые тоже ничего не понимают в жизни.

Рядом с заводом был дом Л. Н. Толстого. Часто я видел, как Лев Николаевич гулял по Хамовническому переулку, по Божениновскому. Мне подарили «Детство и отрочество»; книга показалась мне скучной. Я вытащил из кладовки комплект «Нивы» с «Воскресением»; мать сказала: «Это тебе еще рано читать». Я прочел роман залпом и подумал, что Толстой знает всю правду. Отец мне дал переписать запрещенное цензурой обращение Толстого; я был горд, переписал аккуратно – печатными буквами.

Как-то Лев Николаевич пришел на завод и попросил отца показать ему, как варят пиво. Они обходили цехи, я не отставал ни на шаг. Мне казалось почему-то обидным, что великий писатель ростом ниже моего отца. Толстому подали горячее пиво в кружке, он, к моему изумлению, сказал: «Вкусно» – и вытер рукой бороду. Он объяснял отцу, что пиво может помочь в борьбе с водкой. Я долго потом думал о словах Толстого и начал сомневаться: может быть, и Толстой не все понимает? Я ведь был убежден, что он хочет заменить ложь правдой,

а он говорил о том, как заменить водку пивом. (О водке я знал только со слов рабочих, они говорили о ней любовно, а пиво мне давали, и оно мне не нравилось).

Иногда на заводе начиналась тревога: говорили, будто студенты идут к Толстому. Запирали наглухо ворота, ставили охрану. Я тихонько выбегал на улицу – поджидал таинственных студентов, но никого не было. К сестрам приходили в гости студенты, но, на мой взгляд, это были лжестуденты – они мирно пили чай, говорили о пьесах Ибсена, танцевали; настоящие студенты должны были сбрасывать казаков с лошадей, а потом сбросить царя с трона.

Настоящие студенты не приходили. Я страдал в детские годы бессонницей; однажды сорвал часы со стены: меня доконало их громкое тиканье. В памяти остались образы бессонных ночей: Толстой вытирает рукой бороду, молодой Кара с колуном в руке и его возлюбленная, «Лакме», сумасшедшие, балаганы, и огромная огненная крыса мечется вокруг меня.

4

Все изменилось, но больше всего изменилась Москва. Когда я вспоминаю улицы моего детства, мне кажется, что я это видел в кино.

Может быть, самой загадочной картиной встает передо мной конка. (Я помню, как пустили первый трамвай – от Савеловского вокзала до Страстной площади; мы стояли ошеломленные перед чудом техники, искры на дуге нас потрясали не менее, чем потрясают теперь людей спутники Земли).

Гимназия, где я учился, помещалась на Волхонке, напротив храма Христа Спасителя. Из гимназии в Хамовники я ездил иногда на конке. Ее тащила кляча; на Пречистенке перед подъемом в конку впрыгивал мальчонка; он держал вожжи второй, добавочной клячи и отчаянно гикал. На конке можно было проехать по всем Садовым, это был очень долгий путь. На разъездах конка останавливалась; пассажиры выходили и покорно смотрели вдаль – не покажется ли встречный вагончик.

Чаще я шел пешком по Пречистенке. На углу одного из переулков, кажется Штатного, была церквушка. На паперти богомаз изобразил Страшный суд: черти жарили грешников. Старушки испуганно крестились, а мне хотелось быть чертом.

Когда теперь на Кропоткинской я вижу глубокую старуху с мутными растерянными глазами, которая ковыляет с авоськой, я думаю: может быть, это одна из тех гимназисток, которые весело щебетали на Пречистенке и которые казались мне не просто хорошенькими девочками, а воплощением Женщины, как Венера Милосская, как актрисы Лина Кавальери или Отеро, знаменитые в начале века своей красотой.

Летом Москва была очень зеленой, зимой очень белой. Снег не убирали, и к масляной нарастали огромные сугробы. Бесшумно скользили сани. В мае узкие щербатые тротуары засыпал сиреневый снег; перед домами были палисадники. Золотели или голубели купола церквей. Торчали загадочные сооружения – пожарные каланчи; на верхушке вывешивали шары, помогавшие распознать, в какой части города происходит пожар. Районы города отличались также мастями лошадей пожарных: гнедые, белые, вороные. Когда мороз достигал двадцати пяти градусов по Реомюру, занятий в гимназии не было; я с вечера отогревал замерзшее стекло, глядел на термометр – вдруг мороз покрепчает; но утром на каланче флага не было – об отмене занятий также узнавали по каланче.

На Смоленском рынке летом продавали овощи, фрукты; лежали горами арбузы, их надрезали треугольником. Торговали всем, и все нещадно торговались. Охотный ряд, там, где теперь гостиница «Москва», был заполнен толпой: покупали в лавчонках живность. Огромные рыбы плавали в садках. Охотники ходили, обвязанные гирляндами рябчиков, – продавали дичь. Центром элегантной Москвы был Кузнецкий Мост; на вывесках дорогих магазинов стояли иностранные фамилии: художественными изделиями торговали итальянцы Аванцо, Дациаро, модной одеждой – англичанин Шанкс, парфюмерией – французы, оптическими аппаратами – немцы. На окраинах было множество чайных «без права подачи крепких напитков». Там, где теперь стадион «Динамо», стояли крохотные дачи в садах: Москва быстро обрывалась. На Красной площади весной бывал вербный базар; там продавали «американских жителей» и «тещин язык». Возле Иверской часовни стояли на коленях женщины.

Появился телефон; он был только в богатых домах и в конторах крупных фирм; звонить было сложно – крутили рукоятку, в конце разговора давали отбой. Появилось также электричество, но я долго жил среди черного снега коптивших керосиновых ламп. Голландские печи блестели изразцами. Топили сильно. Между оконными рамами, покрытыми беспредметной живописью мороза, серела вата; иногда на нее ставили стаканчики с бумажными розами. Летом жужжали мухи. Блестели крашеные полы. Тишину изредка прерывал дискант

маленьких собачонок – в моде были болонки и вымершие теперь мопсы. На комодах фарфоровые китайцы до одурения кивали головой. В эмалированных кружках с царским гербом (память о Ходынке) розовели гофрированные розы. К чаю подавали варенье, и варенья бывали разные: крыжовник, русская клубника, кизиль, райские яблочки, черная смородина.

Впервые меня повели в театр на «Спящую красавицу». Околдованные феей балерины искусно замирали на пуантах. В ложах впереди сидели гимназисты в мундирах с яркими пуговицами и гимназистки в коричневых или синих платьях с нарядными передниками. Сзади томились взрослые. Отец мне протянул коробку с шоколадными конфетами, наверху лежал кусок ананаса и серебряные щипчики; щипчики я взял себе. В коридорах театра цепенели пышные капелъдинеры. Горничные в вязаных платках держали шубы, и шубы казались зверями; сибирские леса подходили вплотную к бархату и бронзе Большого театра – выдры, еноты, лисицы, соболя.

На улице, перед театром, поджидая господ, дремали кучера. У них были невероятно большие ватные груди и бороды, белые от инея. Лошади тоже сидели на морозе. Иногда кучера, чтобы согреться, начинали нестигающимся руками бить себя по ватной груди.

На углах переулков спали извозчики; порой, просыпаясь, они глухо зазывали: «Барин, подвезу?...» Они бубнили «полтинник» и после долгих разговоров догоняли: «Извольте двугривенный...» Начинался загадочный путь через Москву. Спали дворники в подворотнях. В церковных садах нарастали сугробы. Вдруг вскрикивал пьяница, но его быстро унимал городской в башлыке. Казалось, все спит: и седок, и извозчик, и лошадь, и Москва.

Извозчики везли седоков на Болото, на Трубу, в Мертвый переулок, в Штатный, в Николо-Песковский или в Николо-Воробьинский, на Зацепу, на Живодерку, на Разгуляй. Станные названия, будто это не улицы большого города, а вотчины удельных князей.

Когда ехали с Мясницкой через Кремль в Хамовники, у Спасских ворот извозчик и седок снимали шапки. Мороз щипал уши. Потом извозчик поворачивался к седоку и начинал длинную повесть.

О чем говорили московские извозчики? Наверное, о многом: о бедности и о морозе, о барских затеях, о своих темных дворах, о том, что больна жена или что забрили сына. Чехов написал о беседе с извозчиком один из самых раздирающих сердце рассказов – «Тоска». Но седоки не слушали, одно слово проступало – «овес». Да, разумеется, они говорили об овсе, надрываясь от горя, они пришептывали: «Прибавить бы гривенник – овес вздорожал». Они жаловались, вздыхали или сквернословили, но из всех слов, нежных или грубых, только одно доходило до ушей седока, простое и таинственное, лейтмотив длинного пути от Лефортова к Дорогомилову – «овес».

Весной выставляли двойные рамы, и Москва сразу становилась невыносимо шумной: пролетки громыхали. Возле некоторых особняков с колоннами мостовая была залита асфальтом, и колеса, как бы различая табель о рангах, переходили на почтительный шепот.

В середине мая начиналось переселение на дачи. По улицам двигались высокие возы с буфетами, пуфами, туалетными столиками, самоварами. Кухарка держала в руках клетку с канарейкой, а рядом бежала собака.

На даче были гамаки, колпаки на свечах, медные тазы для варки варенья и блестящие шары посередине клумб. Взрослые играли в карты, пили клюквенный морс и читали «Русское слово». Студенты и гимназисты старших классов шли на «площадку» – так назывались танцующие. Дети поджидали мороженщика. Иногда все отправлялись в лес – «полюбоваться природой» – и, подстелив под себя одеяла, ложились на траву. Утром разносчики и лудильщики кричали: «Куры-молодки!», «Смородина!», «Пясть, лудить, запаивать!» В воскресенье приезжали гости, они ели кулебяку, говорили о красоте сельской жизни и мирно засыпали.

Сокольники были лесом; на его опушке уже помещался «круг» – там устраивали концерты, спектакли. Баритон Шевелев сводил с ума барышень: «Люблю ли тебя – я не знаю...»

Когда Шевелева сменяла потерявшая голос бывшая знаменитость, студенты уводили взволнованных барышень в боковые аллеи, и там выяснялось, что все хорошо знают, кого кто любит. Потом шли спать. Потом просыпались. Гимназисты зубрили латынь «ут финале» или играли в крокет; хозяйки раздували самовары, торговались с разносчиками и снимали с варенья бледно-розовую пену.

Шел двадцатый век. Германия уже деловито готовилась к войне. Англичане договорились с французами о военном союзе, французы были союзниками России, и в то же время англичане заключили союз с японцами, которые готовились к нападению на Порт-Артур. Бастовали рабочие в Петербурге, в Ростове-на-Дону. В Брюсселе Ленин спорил с меньшевиками. Но в мире, где я жил, было невыносимо тихо. На Волхонке у букинистов я читал те книги, о которых взрослые при мне старались не разговаривать: Горького, Леонида Андреева, Куприна.

Каждый день я бегал в библиотеку – менял книги. Я читал залпом: мне хотелось понять жизнь. Читал Достоевского и Брема, Жюль Верна и Тургенева, Диккенса и «Живописное обозрение», и чем больше я читал, тем сильнее во всем сомневался. Ложь меня обступала со всех сторон, мне хотелось то удрать в джунгли Индии, то бросить бомбу в дом генерал-губернатора на Тверской, то повеситься.

Я бегал также в театр, выклянчивая у матери деньги. В Художественном театре играли Чехова, Ибсена, Гауптмана, у Корша – «Дети Ванюшина», в Малом – «Власть тьмы» со знаменитыми Садовскими. Гремел бас Шаляпина. Помню, кто-то из гостей рассказал, что скоро откроется «биоскоп» и там будут показывать живые фотографии.

Потом нас собрали в актовом зале гимназии, и директор торжественно прочитал манифест: «Мы, Николай Второй, самодержец всероссийский...» Началась война с Японией. В гимназии отслужили молебен, и мы долго, до хрипоты, кричали «ура» – нам объявили, что занятий не будет. Война нам казалась бесконечно далекой, и я очень удивился, когда вскоре увидел моего двоюродного брата Володю Скловского в солдатской форме – он ехал из Киева в Маньчжурию.

Летом того же года я был с матерью и сестрами за границей – снова в Эмсе; там я заболел брюшным тифом. Помню, однако, два события, которые меня поразили: осаду Порт-Артура после битвы, проигранной русской армией, и смерть Чехова. Отец в тот год потерял место и, следовательно, квартиру. Он жил в номерах «Княжий двор» на Волхонке. У меня были переэкзаменовки по латыни и по математике; к началу учебного года меня отправили одного в Москву. В Берлине я должен был пойти в семейный пансион фрау Иенике, где останавливалась моя мать. У фрау Иенике на стенах красовались различные сентенции, вышитые гладью. Мне стало скучно, и вечером я направился на Фридрихштрассе, мне захотелось пирожных; я зашел в кафе, которое оказалось ночным кабаком. Кельнеры на меня косились, но пирожные все же дали, только взяли за них столько, что пришлось телеграммой выклянчить у матери добавочные деньги на дорогу в Москву.

Комната в «Княжьем дворе» была маленькой, с темным альковом, но гостиничная жизнь мне понравилась: я чувствовал себя свободно. Отец уходил с утра, говорил, что ищет работу. После уроков я приводил к себе товарищей, хвастал, что живу самостоятельно, заказывал самовар, плюшки, и мы развлекались, как могли.

(Зимой 1920 года я жил в общежитии Наркоминдела – в бывшем «Княжьем дворе». Внизу спрашивали пропуска. Дежурный кричал в телефон: «Откудова звук?...» «Княжий двор» казался мне, как в детстве, восхитительным).

Собираясь в комнате «Княжьего двора», мы не только ели плюшки и развлекались: в ту осень политика впервые постучалась в мою жизнь. Я начал читать газеты. Японцы били наших, это было горько, но мы понимали, что вся беда в самодержавии. У одного из моих

товарищей был дядя, связанный с эсерами; этот дядя сказал, что скоро произойдет революция, нужно будет разоружить казаков и городских, потом провозгласят республику...

Я прочитал «Преступление и наказание», судьба Сони меня мучила. Я снова думал о казармах Хамовнического завода. Нужно все перевернуть, решительно все!..

Правда, были передо мной и другие соблазны, например гимназистка Муся; она играла на фортепьяно «Песнь без слов», а потом в передней я ее целовал. Но жил я предчувствием больших и загадочных событий. Еще недавно мальчишка в Берлине восхищался пирожными со взбитыми сливками; за два-три месяца я как-то сразу вырос.

В моем первом романе «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников» один из учеников носит мое имя. Это вымышленный персонаж: никогда я не служил кассиром в публичном доме мистера Куля и не возил пулемета римскому папе. Но герой, именуемый Ильей Эренбургом, подчас высказывал мои подлинные мысли. Есть в романе спор о том, что выше – утверждение или отрицание, и ученик Хуренито, Илья Эренбург, вспоминая слова Экклезиаста о том, что есть время собирать камни и время их бросать, говорит, что у него одно лицо, а не два, строить он не умеет и предпочитает бросать камни.

«Хуренито» я написал в тридцать лет, а рассказываю о той осени, когда мне было тринадцать. Я тогда не слышал об Экклезиасте, но мне смертельно хотелось расшвырять побольше камней. Кончалась пора детства – наступал пятый год.

5

Во время последней переписи ко мне пришла молоденькая счетчица. Она удивленно поглядела на стены: Пикассо ее возмутил.

– Неужели это вам нравится?

– Очень.

– А я вам не верю, вы это говорите потому, что он ваш приятель.

Потом я начал отвечать на вопросы.

– Образование?

– Незаконченное среднее.

Девушка обиделась:

– Я вас серьезно спрашиваю.

– А я вам серьезно отвечаю.

– Вы надо мной смеетесь. Я читала ваши книги... Перепись – важное государственное дело. Почему вы не хотите серьезно отвечать?

Она ушла обиженная. Между тем я ей сказал правду: в октябре 1907 года меня исключили из шестого класса.

О гимназии писали много – и Гарин-Михайловский, и Вересаев, и Паустовский, и Каверин. Мне кажется, что все гимназии походили одна на другую. Конечно, кое-чему я в школе научился и от некоторых преподавателей, и от товарищей, но уж не столь многому: куда лучшей школой были книги, да и те люди, с которыми я сталкивался вне стен гимназии.

Гимназисты входили в гимназию с переулка; в огромной сборной висели сотни шинелей. Там обычно дрались «греки» с «персами» и малыши «жали масло», притискивая друг друга к стенке. Приготовишкой я увидел, как в сборной били мальчонку, накидав на него шинели, били дружно, долго и пели при этом: «Фискал, по Невскому кишки таскал...» С того дня я твердо запомнил и пронес через всю жизнь отвращение к фискалам, или, говоря по-взрослому, к доносчикам. Гимназия воспитала во мне чувство товарищества; никогда мы не думали, прав или не прав провинившийся, мы его покрывали дружным ответом: «Все! Все!»

(В 1938 году одна преподавательница детдома, куда привезли испанских ребят, жаловалась мне, что «с ними трудно, они – анархисты». Оказалось, дети, играя, разбили вазу и на вопрос, кто это сделал, ответили: «Все». Я долго убеждал преподавательницу, что в этом нет никакого анархизма, наоборот. Убеждал, но не убедил).

В торжественные дни гимназистов собирали в большом актовом зале, на стенах висели портреты четырех императоров и мраморные доски с именами учеников, получивших медали. Директором гимназии был чех Иосиф Освальдович Гобза; показывая на доски, он нам говорил, что в стенах Первой гимназии воспитывался будущий министр народного просвещения Боголепов. Гобзу мы видели редко, и грозой был инспектор Ф. С. Коробкин.

Я с нежностью вспоминаю гимназические уборные: это были наши клубы. В уборную первых четырех классов неожиданно заглядывал надзиратель и выгонял оттуда лентяев, но, перейдя в пятый класс, я увидел уборную, обладавшую конституционными гарантиями, там можно было даже курить. Стены были покрыты непристойными рисунками и стишками: «Подите прочь, теперь не ночь...» В уборной для малышей обменивались перышками или марками, второгодники (их называли «камчадалами») клялись, будто они запросто бывают в публичных домах. В уборной для старших классов говорили о рассказе Леонида Андреева «В тумане», о разоблачениях Амфитеатрова, о декадентах, о шансонетках в театре «Омона» и о многом другом.

Впрочем, в старших классах я пробыл недолго, и мои воспоминания относятся главным образом к третьему, четвертому классам. Во время большой перемены мы мчались в

столовую; кто-нибудь наспех читал молитву; потом начиналась биржа: меняли пирог с морковью на голубец или котлету на пирог с рисом. Буфетчика мы звали «Артем – сопливый индюк».

Года два процветала азартная игра: какой учитель после перемены выйдет первым из учительской, можно было поставить на любого пятачок. Тотализатором ведали два «камчадала». Были фавориты, часто выходившие первыми, на них трудно было выиграть больше чем гривенник, а мне помнится, что кто-кто выиграл на немце Сетингсоне, обычно выходившем последним и вдруг выскочившем вперед, чуть ли не два рубля. (Я прочитал в воспоминаниях Брюсова, что в гимназии Креймана существовал такой тотализатор еще в 1889 году).

Из предметов мне больше других нравились русский язык, история; с математикой я был не в ладах, а латынь почему-то ненавидел. Словесность преподавал весельчак Владимир Александрович Соколов; вызывая меня к доске, он неизменно приговаривал: «Ну, Эренмерин...» Я не знал тогда, что такое мерин, и не обижался. Кажется, в четвертом классе мы перешли от изложений к сочинениям, и, хотя я был лентяем, сочинения меня увлекали. Владимир Александрович меня и хвалил и поругивал: «Не слушаешь в классе и все от себя пишешь, вот выгонят тебя за такие рассуждения, будешь сапожником».

Обидно, что я не могу теперь проверить, за что меня ругал Владимир Александрович, что было в моих школьных сочинениях недозволенного. А в общем, когда я стал писателем, пятьдесят лет подряд критики повторяли и повторяют слова Владимира Александровича: «Не слушает на уроках, пишет все от себя...»

Отец, когда я приносил балльник с дурными отметками, говорил, что я оболтус, что меня выгонят, придется тогда идти в гимназию Креймана, которая славилась тем, что туда принимали исключенных. Потом отец уже перестал грозить Крейманом, а просто предрекал, как Владимир Александрович: «Будешь сапожником». У меня в жизни были различные занятия, часто неприятные, но тачать обувь я не научился.

В младших классах я увлекался греческой мифологией. Потом преподаватель естественной истории А. А. Крубер, человек толковый и живой, нашел во мне благодарного ученика. К истории я не охладел, только в четвертом классе меня занимали уже не греческие богини, а более близкое прошлое. Когда я написал сочинение о том, что освобождение крестьян произошло не сверху, а снизу, директор вызвал к себе отца.

В третьем классе я стал редактором рукописного журнала «Новый луч». Журнал мы скрывали от учителей, хотя ничего страшного там не было, кроме стихов о свободе и рассказиков с описанием школьного быта.

Я шел в гимназию по Пречистенке. Меня рано начали занимать два дома: женская гимназия Арсеньевой и «Кавалерственной дамы Чертковой институт для благородных девиц». Перейдя в четвертый класс, я почувствовал себя взрослым и начал влюбляться в различных гимназисток, убегал до конца последнего урока, ждал девочку у выхода и нес ее книги, аккуратно завернутые в клеенку. Узнал я и другие женские гимназии, например Алферовой на Арбате, Брюхоненко на Кисловке.

Напротив гимназии, возле собора, был чудесный сквер, там мы гуляли, назначали свидания гимназисткам, ревновали и прикидывались Печориными.

Когда я перешел в пятый класс, я выломал на гербе фуражки цифру «I», обозначавшую, в какой гимназии я учусь, – так поступали все «сознательные». Куртку мы носили, как пиджак, – поверх косоворотки. Мы старались подражать студентам: одеваться небрежно, иметь непочтительный вид и, споря о прочитанных книжках, размахивали руками.

Некоторые гимназисты были эстетами, презирали стихи Надсона и Апухтина, которыми еще зачитывались девочки, и, к ужасу своих избранниц, писали в обязательные альбомы: «О да, вас, женщины, воззвал я сам». Были и франты, ранние прожигатели жизни, «стиляги» начала века; они носили очень широкие фуражки нежно-голубого цвета, говорили

о скачках, о шансонетках, о балах, хвастались – вчера на балу они пили французский ликер, а потом... Что было потом, слышал только закадычный друг хвастуна.

Часто в Колонном зале я вспоминаю, как впервые в нем очутился. Он тогда назывался «Большой зал Благородного собрания». Я пошел на вечер «в пользу недостаточных учеников московской Первой гимназии». Сначала Шаляпин пел про блоху. Гимназисты старших классов отнеслись к этому спокойно, говоря, что Шаляпин всегда поет про блоху, но я был второклассником и с восторгом повторял: «Ха-ха, блоха!» Потом начались танцы. Меня пробова­ли учить танцевать, я знал, что существуют десятки сложнейших танцев: падепатинер, падеспань, венгерка, мазурка, миньон, шакон и другие; но я путал все па и, главное, неизменно наступал на ноги девочке, которую приглашал. В «Благородном собрании» я не хотел осрамиться и поднялся на хоры. Там я неожиданно увидел помощника классного наставника, по привычке встал и очень громко его приветствовал. Помощник классного наставника любезничал с толстой барышней и рассердился на меня.

Когда я был в четвертом классе, я ездил с товарищами приглашать актеров участвовать в благотворительном концерте. Мы были у знаменитой певицы Неждановой. Я тискал в руке белые перчатки и страдал от своей несветскости. Мои товарищи были смелее.

В нашем классе был «лев» – князь Друцкой, прекрасный танцор, он умел разговари­вать с девушками. Когда мне было тринадцать лет, я ему завидовал. Но уже год спустя он казался мне неинтересным. Я читал Чернышевского, брошюры о политической экономии, «Жерминаль», старался говорить басом и на Пречистенском бульваре доказывал дочке учителя пения Наде Зориной, что любовь помогает герою бороться и умереть за свободу.

Девочки, которых я провожал из гимназии до дома, часто менялись: постоянством в четырнадцать лет я не страдал. Иногда я приглашал их в кондитерскую Пелевина на Осто­женке, пирожное там стоило три копейки. Девочки мне казались неземными, но аппетит у них был хороший, и однажды мне пришлось оставить кондитеру в залог фуражку.

Мы жили тогда на Остоженке, в Савеловском переулке. Квартира была поместитель­ная, и у меня была отдельная комната. Я требовал от родителей, чтобы они не входили ко мне, не постучав. Мать подчинялась, но отец смеялся над моими выдумками.

На Остоженке в писчебумажном магазине я покупал открытки с фотографиями шансо­неток, предпочтительно голых: я считал, что о женщинах нужно думать поменьше, но думал о них чересчур много. Помню фотографию известной красавицы Наташи Трухановой, она меня сводила с ума. Четверть века спустя в Париже я познакомился с А. А. Игнатьевым, быв­шим военным атташе во Франции, сотрудником нашего торгпредства; его жена оказалась той самой Наташей, которая меня пленяла в отрочестве. Я ей рассказал о старой открытке, и мой рассказ ее рассмешил.

Моя первая любовь относится ко времени несколько более позднему – к осени 1907 года, когда меня уже прогнали из гимназии. Звали гимназистку Надя. Ее старший брат, Сергей Белобородов, был большевиком. Отец Нади читал «Московские ведомости» и зло косился на меня: я был революционером, да еще ко всему евреем, и покушался на невин­ность Нади. Приходил я к ней редко, и обычно мы встречались на улице, в Зачатьевском переулке. Почти каждый день мы писали друг другу длиннейшие письма, с психологиче­ским анализом наших отношений, с упреками и клятвами, письма ревнивые, страстные и философические. Нам было по шестнадцати лет, и, вероятно, мы оба были поглощены не столько друг другом, сколько смутным предчувствием раскрывающейся жизни.

Вернусь к гимназии. Я познакомился с некоторыми учениками старших классов – с Бухариным, Астафьевым, Циресом, Ярхо. От Бухарина я услышал впервые про историче­ский материализм, про прибавочную стоимость, про множество вещей, которые показались мне чрезвычайно важными и которые резко переломили мою жизнь.

Шел бурный пятый год. Богословская аудитория университета превратилась в зал для митингов. Я часто туда убегал. Рядом со студентами сидели рабочие. Мы пели «Марсельезу» и «Варшавянку». Курсистки раздавали прокламации. По рукам ходили огромные шапки с запиской: «Жертвуйте на вооружение».

Я шел по Моховой. Студенческие фуражки вдруг закружились, как осенние листья. Кто-то крикнул: «Охотнорядцы!» Все бросились во двор университета и начали готовиться к защите крепости. Нас разбили на десятки: я мелом проставил на гимназической шинели номер. Мы таскали камни наверх, в аудитории: если враг прорвется, мы его забросаем камнями. Развели костры; жевали бутерброды с колбасой и до утра пели: «Смело, друзья, не теряйте бодрость в неравном бою!..» Мне тогда еще не было пятнадцати лет, и легко понять, что бодрости я не терял.

Помню похороны Баумана. Когда мы возвращались с кладбища, раздались выстрелы. Помню казака с серьгой в ухе и с нагайкой. Помню декабрь: тогда впервые я увидел кровь на снегу. Я помогал строить баррикаду возле Кудринской площади. Никогда не забуду рождества – тяжелой, страшной тишины после песен, криков, выстрелов. Чернели развалины Пресни. Сапоги семеновцев щемили снег, и снег жалобно поскрипывал. Вернувшись в гимназию после рождественских каникул, я рассеянно глядел по сторонам; думал о своем: нужно найти подпольную организацию – главные бои впереди.

Год я провел в гимназии, как бы не замечая больше, что есть занятия, уроки, отметки: я был занят одним – сравнивал программы эсдеков и эсеров. За последних была романтика: боевые дружины, террор, роль личности. Но мне они казались чересчур романтическими: я помнил рабочих Хамовнического завода, и меня тянуло к большевикам, к романтике неромантического. Я уже читал статьи Ленина и понимал, что меньшевики умеренны, ближе к моему отцу. Я часто повторял про себя одно слово: «справедливость». Это очень жесткое слово, порой холодное, как металл на морозе, но тогда оно мне казалось горячим, милым, своим.

Как-то я поспорил с отцом; оказалось, что он и не слышал про большевиков и меньшевиков, ему нравились кадеты. Я долго доказывал, что необходима революция. Он сказал: «Может быть, ты и прав... Но главное – это терпимость». Трудно соблазнить терпимостью мальчишку пятнадцати лет с жестким чубом на голове и с давним желанием раскидать тяжелые неподвижные камни. «Все или ничего!» – это восклицание одного из героев Ибсена я записал как девиз в свою записную книжку и, несмотря на пренебрежение к поэзии, повторял стихи А. К. Толстого:

Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку...

Тысяча девятьсот шестой год определил мою судьбу. Это был шумный и трудный год: еще вскипали волны революции, но начинался отлив. Одни с печалью, другие с радостью говорили, что гроза позади; восстания матросов в Кронштадте и Свеаборге казались последними раскатами грома. Гимназисты уgomонились, вернулись к учебникам: больше не было ни митингов в университете, ни демонстраций, ни баррикад. В тот год я вошел в большевистскую организацию и вскоре распрощался с гимназией. Бухарина и Астафьева я продолжал встречать, но уже не в гимназических коридорах, а на подпольных собраниях. Выбор был сделан.

В 1958 году меня разыскал мой однокашник Вася Крашенинников, по профессии врач. В старости люди начинают тянуться к полузабытым друзьям детства, отрочества. Крашенинников решил собрать тех наших школьных товарищей, которые еще остались в живых и

находятся в Москве. Мы ужинали в ресторане «Прага», пятеро граждан того возраста, который теперь называют «преклонным», вспоминали школьные проказы, учителей, девочек.

Зал ресторана постепенно заполнился; я сидел спиной к залу и не видел посетителей; вдруг я оглянулся и замер – кругом были неимоверно наруганные, растрепанные девушки, мальчишки в клетчатых пиджаках, с перманентом, прямые наследники гимназистов, носивших лазурные фуражки, и студентов-«белоподкладочников». Они танцевали, а когда музыка замолкала, наступала тишина: оживленно беседовали только пять стариков за крайним столиком.

Не знаю, почему судьба сыграла над нами столь злую шутку: мы назначили свидание в том самом месте, где собираются «стиляги». Их, право же, немного. А мы были самыми обыкновенными гимназистами начала века, которые жили, как все, случайно выжили и которые говорили в тот вечер о молодежи нашего времени не с брюзжанием стариков, а с нежностью и доверием.

«Почему тебе не нравилась Валя Козлинская? – спросил меня Крашенинников. – В нее все были влюблены...» Не знаю почему – не помню. Может быть, потому, что я был влюблен в Надю Белобородову? Может быть, потому, что я жил будущим: к величайшему ужасу матери, ко мне приходил студент-боевик Дмитрий, он показывал мне и моим товарищам, как нужно обращаться с револьвером.

6

Прошлое забывается; кое-что можно припомнить, другое ушло навсегда.

В томе «Литературного наследия», посвященном Маяковскому, я нашел рапорт начальника Московского охранного отделения, подполковника фон Котена, посвященный подпольной социал-демократической организации в средних учебных заведениях Москвы. Я долго думал над некоторыми именами: не могу вспомнить, о ком идет речь; рапорт охранника, однако, многое оживил в моей памяти. Фон Котен доносил:

«Более выдающуюся роль играли Брильянт, Файдыш, Эренбург и Анна Выдрина... Партия приобрела для себя из среды учеников новых работников: Файдыш – член военно-технического бюро; Эренбург, Соколов, Сахарова, Бухарин и Брильянт – районные пропагандисты; Рокшанин – техник Замоскворецкого района и Антонов – техник Городского района».

Я, конечно, хорошо помню Бухарина и Брильянта, с ними я встречался и впоследствии; вспоминаю Файдыша, Веру Сахарову, Рокшанина, а вот Антонова и Соколова не помню. В списке, составленном фон Котеном, есть и другие имена, мне памятные, – Надя Львова, Валя Неймарк, Конкордия Ивенсон, Борис Осколков, но отсутствуют Астафьев, Членов, Маруся Львова, Ася Яковлева.

Начальник охраны кое-что напутал. Бухарина он окрестил Владимиром, это, может быть, описка. А вот ошибка поважнее: 18 января 1908 года он сообщал, что партия приобретает новых работников из среды гимназической организации. На самом деле члены партии Бухарин и Брильянт в 1906 году по указанию Московского комитета положили начало школьной организации. Что касается меня, то я сначала попал в общепартийную организацию, а потом, среди прочего, занялся школьными делами. В 1907–1908 годах ни Бухарин, ни Брильянт больше не руководили гимназической организацией, и 30 января 1908 года охранка арестовала «главарей», а именно Неймарка, Кору Ивенсон, Файдыша, Осколкова и меня.

Еще в 1906 году я познакомился с большевичкой Егоровой; у нее были очень светлые волосы, выпуклый лоб. Сначала я таскал «литературу», потом стал «организатором» в Замоскворецком районе. Пуще всего я боялся, что товарищи могут догадаться о моем возрасте, скажут, нельзя поручать пятнадцатилетнему мальчишке важные задания...

(Много лет спустя я узнал, что Маяковский занялся партийной работой, когда ему не было и пятнадцати лет; очевидно, таковы были нравы эпохи).

Расскажу сначала о моих товарищах по школьной организации.

О Бухарине мне предстоит говорить впоследствии, сейчас мне хочется просто припомнить восемнадцатилетнего юношу, которого все мы любили, называли «Бухарчиком». Он не походил на других подпольщиков: мы были чересчур серьезными, скрывали друг от друга многое, даже с девушками, в которых влюблялись, старались говорить только об историческом материализме, о том, что личность в истории ничего не значит и что «отрезки» куда лучше, чем социализация или муниципализация. Бухарин, в отличие от других, был очень веселым, я, кажется, и сейчас слышу его заразительный смех; непрестанно он прерывал разговор шутками, придуманными или нелепыми словечками, он не только разбирался в партийных дискуссиях, не только одолел политическую экономию, он знал философию, историю, словесность. Он объяснял мне, в чем величие и в чем ошибки Гегеля, каково значение древнекитайской культуры, почему пророк Аввакум стал большим писателем. Все это не мешало ему быть точным, деловым в подпольной работе. Спорил он добродушно, но спорить с ним было опасно: он ласково вышучивал противника. Я часто у него бывал, жил он с родителями (отец его был педагогом) на Малой Никитской; иногда он приходил ко

мне, и мопс Бобка неизменно старался его укунить – мопсу не нравились ни громкий смех, ни высокие сапоги. Бывают мрачнейшие люди с оптимистическими идеями, бывают и веселые пессимисты; Бухарчик был удивительно цельной натурой – он хотел переделать жизнь, потому что ее любил.

Брильянт (Г. Я. Сокольников) был сыном аптекаря на Трубной площади, работал он в Сокольническом районе, дружил с Бухариным, но никак на него не походил: бледный, аккуратный, он говорил всегда спокойно, чрезвычайно редко улыбался; мне казался чересчур замкнутым, даже суховатым. Когда летом 1908 года меня вели по коридору Бутырской тюрьмы, я вдруг увидел Брильянта. Мы поздоровались глазами – конспирация не позволяла большего. Его отправили в Сибирь на поселение, оттуда он убежал, и мы встретились в Париже. Он усердно занимался партийной работой, и я очень удивился, услышав, что в свободное время он переводит полубившийся ему роман Шарль-Луи Филиппа «Бюбю с Монпарнаса». Я понял, что не такой уж он сухой, как мне казалось. А в последний раз я его видел в Лондоне, где он был послом; говорили мы о политике консерваторов, об угрозе фашизма и ни словом не вспомнили прошлого.

Сеня Членов походил на добродушного котенка: лицо широкое, часто жмурился, флегматичный, с легкой усмешкой.

Он нам объяснял роль иностранного капитала, англо-германский антагонизм, алчность и отсталость русской буржуазии, но после серьезных рефератов охотно беседовал о декадентах, о Художественном театре, о сатирических романах Анатоля Франса. Много лет спустя я с ним снова встретился в Париже – он был юрисконсультом советского посольства. Удивительно, до чего он мало изменился; очевидно, в восемнадцать лет он был уже вполне отструганным, отшлифованным.

В Париже мы с ним подружились. Он был человеком сложным, сибаритом и в то же время революционером. Видя недостатки, он оставался верным тому делу, с которым связал свою жизнь. Вероятно, среди просвещенных римлян III века, уверовавших в христианство, были люди, похожие на Семена Борисовича Членова (мы звали его Эсбе), – они видели, как несовершенны статуи Доброго Пастыря по сравнению с Аполлоном, но вместе с другими христианами шли на пытки, на казнь. Помню, я ехал из Москвы в Париж; на пограничной станции Негорелое стоял встречный поезд; в вагоне-ресторане лениво улыбался Эсбе – его вызывали в Москву. Больше мне не удалось с ним встретиться – это было в конце 1935 года...

Мой сверстник и товарищ по гимназической организации Валя Неймарк был для меня образцом скромности и верности. Его арестовали в ту же ночь, что меня; выпустили; потом арестовали по другому делу и сослали в Сибирь. Он убежал за границу. Я поехал к нему в маленький французский городок Морто, на границе Швейцарии. Валя работал на часовой фабрике. Во мне сказывался душевный разлад – то я мечтал вернуться в Россию и отдаться нелегальной работе, то бродил по Парижу, очарованный городом, и повторял про себя стихи о Прекрасной Даме. А Валя был прежним, участвовал в местной социалистической организации, следил за партийной литературой; ночью он с тихим жаром доказывал мне, что через год-два в России начнется революция. Его дальнейшая жизнь была очень трудной, но до конца он сохранил страстность и чистоту подростка.

7

Львов был мелким почтовым служащим, жил на казенной квартире на Мясницкой; он думал, что его дочери спокойно выйдут замуж, а дочери предпочли подполье. Надя Львова была на полгода моложе меня, когда ее арестовали, ей еще не было семнадцати лет, и согласно закону ее вскоре выпустили до судебного разбирательства на поруки отца. Она ответила жандармскому полковнику: «Если вы меня выпустите, я буду продолжать мое дело». Надя любила стихи, пробовала читать мне Блока, Бальмонта, Брюсова. А я боялся всего, что может раздвоить человека: меня тянуло к искусству, и я его ненавидел. Я издевался над увлечением Нади, говорил, что стихи – вздор, «нужно взять себя в руки». Несмотря на любовь к поэзии, она прекрасно выполняла все поручения подпольной организации. Это была милая девушка, скромная, с наивными глазами и с гладко зачесанными назад русыми волосами. Старшая сестра, Маруся, относилась к ней с уважением. Училась Надя в Елизаветинской гимназии, в шестнадцать лет перешла в восьмой класс и кончила гимназию с золотой медалью. Я часто думал: вот у кого сильный характер!..

Мы расстались в конце 1908 года (я видел ее перед моим отъездом за границу). Я начал писать стихи в 1909 году, а Надя год спустя. Не знаю, при каких обстоятельствах она познакомилась с В. Я. Брюсовым. В 1911 году Валерий Яковлевич посвятил стихотворение Н. Львовой; он писал:

Мой факел старый, просмоленный,
Окрепший с ветрами в борьбе,
Когда-то молнией зажженный,
Любовно подаю тебе.

В феврале следующего года Надя писала: «Мне все равно, мне все равно. Теперь больше, чем когда-либо... Тебя приветствую, мое поражение».

Осенью 1913 года вышли две книги: «Старая сказка» Н. Львовой и «Стихи Нелли» без имени автора, посвященные Н. Львовой, со вступительным стихотворением Брюсова, который был автором анонимной книги.

Брюсов говорил:

Пора сознаться: я – не молод; скоро сорок...

Наде было на восемнадцать лет меньше. Она писала:

Но, когда я хотела одна уйти домой, —
Я внезапно заметила, что Вы уже не молоды,
Что правый висок у вас почти седой, —
И мне от раскаянья стало холодно.

Эти строки написаны осенью 1913 года, а 24 ноября Надя покончила жизнь самоубийством. Она переводила стихи Жюль Лафорга, который писал о невыносимой скуке воскресных дней; в одном из его стихотворений школьница неизвестно почему бросается с набережной в реку. Брюсов часто говорил о самоубийстве, над одним из своих стихотворений он поставил как эпиграф тютчевские слова:

И кто в избытке ощущений,

Когда кипит и стынет кровь,
Не ведал ваших искушений —
Самоубийство и Любовь!

А Надя застрелилась... В предисловии к посмертному, дополненному изданию «Старой сказки» я прочитал: «В жизни Львовой не было значительных внешних событий». Бог ты мой, сколько же должно быть событий в жизни человека? В пятнадцать лет Надя стала подпольщицей, в шестнадцать ее арестовали, в девятнадцать она начала писать стихи, а в двадцать два года застрелилась. Кажется, хватит...

На ее могиле (похоронили ее в Марьиной Роще) вырезана строка из Данте:

Любовь, которая ведет нас к смерти.

Но я сейчас думаю не о Брюсове, а о Наде: что-то меня до сих пор волнует в ее судьбе, есть близость, которая заставила меня теперь выделить рассказ о ней в отдельную главу. Да, конечно, она застрелилась, считая, что привела ее к смерти любовь, — об этом говорят все ее посмертно опубликованные стихи. Но, может быть, именно стихи привели ее к смерти?

Человеку очень трудно дается резкий переход от одного мира к другому. Надя любила Блока, но жила она книгами Чернышевского, Ленина, Плеханова, явками, «провалами», суровым климатом революционного подполья. Она вдруг оказалась перенесенной в зыбкий климат сонетов, секстин, ассонансов и аллитераций. Дважды в предсмертных стихах она повторяла:

Поверьте, я — только поэтка.
Ах, разве я женщина? Я только поэтка...

Может быть, погибла не женщина, столкнувшаяся со сложностями любви, а «только поэтка»?

Когда-то говорили о трудностях иммигранта, приехавшего из насиженной, надышанной Европы на пространства Дальнего Запада. Теперь говорят о тяжести космонавта в ощущении невесомости. Есть еще одна беда: оказаться перенесенным в бесплотный мир образов, слов, звуков. Кажется, это узнала Надя Львова, и, вспоминая свою раннюю молодость, я слишком хорошо понимаю ее поражение. Не выдержала...

Я еще не был знаком с Валерием Яковлевичем, когда получил от него письмо, в котором он рассказывал о своих переживаниях после самоубийства Нади. Меня не удивило, что она говорила Брюсову обо мне; но почему знаменитый поэт, к которому я относился, как к мэтру, вздумал объясняться со мной — это осталось для меня загадкой.

Помню еще деловитую, начитанную Аню Выдрину, Асю Яковлеву, которой я увлекся, сестер Львовых.

В подполье я делал все, что делали другие: писал прокламации и варил в противне желатин листовки мы размножали на гектографе, искал «связи» и записывал адреса на папиросной бумаге, чтобы при аресте успеть их проглотить, в рабочих кружках пересказывал статьи Ленина, спорил до хрипоты с меньшевиками и старался, как мог, соблюдать правила конспирации.

Отобранные у меня при аресте записные книжки помогают мне воссоздать мой тогдашний облик. В одной из записных книжек, по словам обвинительного акта, имелись «разные статистические сведения, касающиеся русских финансов, народного образования, промышленности, сельского хозяйства, а также стачек и локаутов в Германии»: в другой — «переговорить с Борисом», «квартира», «купить книги», «относительно легальных газет», «передать

печать», «передать Тимофею связь и переговорить с ним о лекциях», «передать в Хамовники о шрифте», «позвонить Ткачу».

Зимой мы часто встречались в чайных и кидали медяки в пузо горластых органов, чтобы музыка заглушала разговоры. В чайных подавали колбасу, нарезанную кубиками, и вилки с обломанными зубьями; колбаса воняла, не помогала даже горчица. Чай пили вприкуску, откалывая кусочки сахара черными щипцами. В чайных было шумно, но невесело, люди заходили отогреться, и домашняя жестокая тоска не оставляла их.

Однажды я попал в ночную чайную для извозчиков. Перед этим я был на общегородском собрании в Марьиной Роще; нас накрыли, но всем удалось разбежаться. Я зашел в чайную, чтобы спрятаться от шпикив. Кругом сидели сонные извозчики. Хотя я пил чай с блюдечка и даже пытался кряхтеть, наверно, я в точности походил на классического «смутьяна», который снился всем околоточным. Впрочем, извозчики не обращали на меня внимания; только один вдруг с шумом встал, посмотрел на меня хитрыми глазами и сказал: «Разве это жизнь?» Я тотчас выбежал на улицу.

В общем, мне везло. Как-то вечером меня задержали на набережной возле Бутиковской мануфактуры. На мне были прокламации. Меня повели в участок. Околоточный шагал рядом. Когда мы переходили Остоженку, он остановился, чтобы пропустить лихача, я же убежал вперед, и мне удалось выбросить прокламации. В участке меня продержали несколько часов, потом пришел пристав, выругался, и меня отпустили. Раз на нас донесла жена рабочего, в квартире которого мы собирались. Она ревновала мужа и решила ему отомстить; но, видимо, она рассказала городовому что-то несусветное: он лазил под кровать, приподнимал половицы, щупал карманы – искал оружие и, ничего не найдя, ушел, даже не полюбypoпытствовав, кто мы такие.

Недавно в Государственном архиве на Пироговской я напал на выцветшую бумажку; она мне напомнила, что «в ночь на 1 ноября 1907 года в три часа утра в квартире гимназиста Ильи Григорьева Эренбурга, проживающего в доме Варварьинского общества в Савеловском переулке, был произведен обыск» и что «ничего предосудительного найдено не было», «отобраны ноты “Русской марсельезы” и различные открытки».

В подрайоне, который мне поручили, находилась обoйная фабрика Сладкова. Я подружился с механиком Тимофеем Ивановичем Илюшиным, энергичным и необычайно крепко стоящим на ногах. На фабрике устроили забастовку; я выступал на собраниях и завел подписные листы – собирал среди студентов деньги для забастовочного комитета.

Любил я и столяра-краснодеревца весельчака Василия Ивановича Чадушкина. Ни он, ни Илюшин никак не походили на угрюмых рабочих Хамовнического завода, которых я знал в годы детства. Пятый год не прошел бесследно, начал складываться рабочий авангард. У моих новых друзей я учился душевному веселью. Они жили плохо, работали тяжело и все же шутили. Для меня революционная работа была освобождением от лжи, для них она была кровным делом, сложным, но естественным.

Я хорошо помню некоторые пейзажи. Возле Шаболовки был большой пустырь, кое-где поросший жалкой травой; на ней лежали босые рабочие. Там мы собирались, говорили о статье в газете «Вперед», а также о том, что рабочие обoйной фабрики Сладкова требуют хозяйского мыла. Кто-нибудь обязательно стоял на часах: мог подойти свирепый городской по прозвищу «Шило». Собирались мы также на Татарском кладбище, среди старых плит; весной там цвели одуванчики, курослепы. Излюбленным местом собраний были Воробьевы горы. Наверху владельцы чайных палаток зазывали честную публику. Дымили самовары, булькала водка. Жаловалась гармоника: «Ах, зачем эта ночь так была хороша...» Собирались мы ниже, в лесочке, говорили о «связях», о листовках, оттиснутых на гектографе, о том, что вчера один из организаторов провалился с адресами...

Помню выборы делегатов на Стокгольмский съезд. Большевики должны были приглашать на предвыборные собрания меньшевика, меньшевики – большевика. Ненавидишь всегда людей скорее близких, и даже кадеты мне были, кажется, милее меньшевиков. Я пошел на собрание меньшевиков-печатников, там мое красноречие оказалось бессильным. Потом было собрание десяти или пятнадцати рабочих кирпичного завода, где имелась меньшевистская организация. От меньшевиков выступала девушка, очень серьезная, стеснявшаяся всего и всех, а я дерзил, вышучивал меньшевиков и победил: рабочие проголосовали за большевистского делегата. Девушка чуть не плакала, мы ушли с нею вместе, мне ее было жалко, но я усмехался – как-никак разбил оппортунистов!

Говорят, что иногда человек не узнает себя в зеркале. Еще труднее узнать себя в мутном зеркале прошлого. Когда меня спрашивают о начале моей литературной работы, я называю стихи, которые написал весной 1909 года. На самом деле мои первые писания относятся к 1907 году, и они куда ближе к самодеятельной публицистике, нежели к поэзии. В архиве на Пироговской сохранилась передовая статья журнала «Звено», написанная мною. Она переполнена пафосом шестнадцатилетнего неофита. «В тяжелое время мы приступаем к изданию нашего журнала. Черная реакция охватила всю Россию. Передовой отряд революции пролетариат – еще не оправился от поражений, не залечил своих ран. Радуются его враги, с криком “горе побежденным” обрушиваются они на революционную армию и прежде всего на ее вождя – российскую социал-демократию. С твердым сознанием новой силы, со светлой верой в конечную победу загнанный в подполье пролетариат оттачивает свое оружие – строит свою рабочую партию. Мы разделяем его веру, глубоко ненавистен нам тот строй, где рядом с роскошью и развратом царит непроглядная нищета, власть рубля и нагайки. Мы твердо убеждены в его неизбежном падении, в приходе светлого царства свободы, равенства, братства. Залогом этого является великая международная борьба пролетариата в рядах социал-демократии. Под красное знамя зовет он всех униженных и оскорбленных, всех, кто искренне жаждет обновления человечества. Тернистой, но верной дорогой идет он к цели – к социализму. И нет и не должно быть зрителей в этой исторической борьбе: кто не с ним, тот против него. К тем из учащих, кто решил отдать свою жизнь делу освобождения труда, будет направлено наше слово. Мы хотим их подготовить к трудной роли быть барабанщиками и трубачами великого класса, хотим научить их науке борьбы, хотим спаять их крепким звеном с мессией будущего – пролетарием». Я привел полностью мое первое литературное упражнение, конечно, не потому, что оно мне кажется удачным; мне хочется показать, как происходит инфляция слов и как слова меняют свое значение. В 1907 году я жаждал стать барабанщиком и трубачом для того, чтобы в 1957 году написать: «В оркестре существуют не только трубы или барабаны...»

Другое мое сочинение, озаглавленное «Два года единой партии», не сохранилось. Судя по резюме охранника, я говорил, что партия не должна пренебрегать всеми видами легальной работы и в то же время должна усилить свою нелегальную деятельность. Вопросы партийной тактики, споры различных фракций в те времена меня увлекали. Я любил говорить о примирении, но говорил о нем непримиримо.

На явках я встречал Варю, Тимофея, Таню, Егора-Моргуна: Егор был студентом, Таня – курсисткой. Иногда с Николаем Ивановичем вечером я приходил в гости к Тане или к Лидии Недокуновой; жили они на Владимиро-Долгоруковской; говорили мы о партийных делах, но и шутили, смеялись. Недавно мне привелось встретиться после пятидесятилетнего перерыва с Таней; она оказалась вдовой В. П. Ногина. Мы вспоминали далекое прошлое: как мы, начинающие пропагандисты, собирались на электрической станции у П. Г. Смидовича, как хорошо шутил Николай Иванович, какой задорной и светлой была наша ранняя молодость.

Встречался я неоднократно с Макаром и только много лет спустя узнал, что «Макаром» звали В. П. Ногина.

Однажды на городское собрание пришел человек с усталыми и добрыми глазами. Я глядел на него с почтением: знал, что он – член ЦК. Иннокентий (И. Ф. Дубровинский) внимательно разговаривал с каждым из нас; одному товарищу он сказал: «Плохо выглядите, нужно вам отдохнуть...» Я помню, как на меня действовали эти слова: они не вязались с моим представлением о революции; вернее сказать, мне очень хотелось простой человеческой ласковости, но я считал, что это слабость, пережитки, «интеллигентщина».

Осенью 1907 года мне поручили наладить связи с солдатами и создать организацию в казармах. Я был восхищен трудностью и ответственностью задания. Мне дали печать – все, что осталось после очередного провала; я проштемпелевал две талонные книжки для сбора средств, а печать по глупости хранил у себя, считал, что она хорошо спрятана. (В обвинительном акте говорится, что среди отобранных у меня предметов была «мастичная печать» «Военной организации при Московском комитете Российской социал-демократической партии»). Мне удалось познакомиться с писарем нестроевой роты Несвижского полка, он привел трех солдат пулеметной роты, потом к ним присоединился вольноопределяющийся, еще солдат, всего шесть человек – один из черновиков Красной гвардии...

Я продолжал читать романы, ходил в театры, иногда встречал знакомых, далеких от политики. Историки называют те времена «началом реакции». После яркого пятого года наступила смутная эпоха: все чего-то искали, оживленно спорили, волновались, а за всем этим чувствовались усталость, разуверение, пустота.

Вместо миньона или шакона моих детских лет барышни разучивали перед испуганными мамами кекуок и матчиш: просвещенное человечество приближалось к фокстроту. Студенты спорили, является ли «Санин» Арцыбашева идеалом современного человека: здесь было и нищестество для невзыскательных, и эротика, более близкая к конюшне, чем к Уайльду, и откровенность нового века. Появился рассказ Анатолия Каменского, в котором подробно излагалось, как некий офицер успел соблазнить в один день четырех женщин. В Художественном театре ставили «Жизнь человека» Леонида Андреева, наивную попытку обобщить жизнь, о которой толковал в углу сцены «Некто в сером». Польку из этой пьесы напевали или насвистывали московские интеллигенты. В том же театре шли «Слепые» Метерлинка, и от символического воя впечатлительные дамы заболели неврастением. Никто из них не предвидел, что через десять лет появятся пшенная каша и анкеты; жизнь казалась чересчур спокойной, люди искали в искусстве несчастья, как дефицитного сырья. Начиналась эпоха богоискательства, скандинавских альманахов, «Навях чар».

Казалось, я был забронирован своей непримиримостью; но нет, искусство забиралось и в мое подполье. Ночами я читал Гамсуна – «Пана», «Викторию», «Мистерии», ругал себя за слабость, но восхищался: чувствовал, что есть другой мир – природа, образы, звуки, цвета. Чехов меня потрясал и тогда непонятной мне, но бесспорной правдой; я шептал: «Мисюсь, где ты?», я был влюблен в «даму с собачкой». Я увидел Айседору Дункан; она была в античной тунике и танцевала совсем не так, как Гельцер. Я говорил себе по-прежнему, что все это чепуха, но порой не мог от «чепухи» заслониться. Еще гимназистом я сказал девушке, в которую влюбился: «Короленко говорит, что человек создан для счастья, как птица для полета...» Влюблялся я часто, и мне очень хотелось счастья, но я посвящал все силы, все время другому. У нас часто употребляют как похвалу эпитет «монолитный»; а монолит – это каменная глыба. Человек куда сложнее. Даже в шестнадцать лет...

Газеты были бойкими и мрачными. Эсеры увлекались экспроприациями. Людей вешали. Охранники по ночам раздирали тюфяки и перетряхивали восемьдесят томов энциклопедии Брокгауза и Ефрона.

Блок тогда писал:

Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!

И приветствую звоном щита!

Но я не знал Блока. Я очень много не знал: я был маленьким монолитом с большой трещиной. Я ходил к гимназистке Асе Яковлевой; она была на два года старше меня и, наверно, лучше разбиралась в клубке человеческих чувств. Я рассказывал ей об итогах Лондонского съезда и старался побороть многое, что теснилось в моей груди. Разговоры о пользе и вреде кооперации прерывались короткими признаниями. Мы ссорились и мирились. На рождественские каникулы Ася уехала в Бобров, обещала, во-первых, разгромить там эсеров, во-вторых, подумать хорошенько о наших отношениях. При аресте у меня отобрали ее письмо, которое начиналось словами: «Илья, мне хочется более спокойно поговорить с вами...» А в конце была справка: «Реферата не читала, так как почти все с.-р. куда-то испарились, а может, и пыл пропал боевой...»

Трудно было спорить о статье Плеханова и одновременно мечтать о счастье. Я говорю об этом потому, что, в отличие от многих писателей, моих сверстников, я очень рано увидел маленький макет того душевного мира, в котором прожил потом добрых пятьдесят лет. На дворе еще стоял – если не по календарю, то по быту – девятнадцатый век, с клятвами Герцена и Огарева, с «кружением сердца», с Полиной Виардо, с «Чайкой», со стихами Надсона, а я между явками и романами Гамсуна уже предчувствовал климат иной эпохи.

Я подтруниваю над самоуверенностью мальчишки; но именно в те годы решалось для меня многое. Конечно, я шел путаной дорогой: жизнь не шоссе, а искусство и приподымает человека, и порой уводит его в сторону. И все же я вижу, что сейчас мне близок шестнадцатилетний юноша, который писал наивные прокламации. Если что-либо помогло мне пережить годы сомнений, разуверений, то только сознание, что дело, которому я отдал себя свыше пятидесяти лет тому назад, диктуется и разумом века, и моей совестью.

Пришли за мной в два часа ночи; я крепко спал и проснулся от голосов околоточного, шпиков, понятых. Я ничего не успел уничтожить. Обыск продолжался до утра. Мать плакала, и по квартире в ужасе носилась тетка, приехавшая погостить из Киева, она была в пышной нижней юбке. Помню, меня успокаивала, даже радовала мысль: как хорошо, что две недели назад мне исполнилось семнадцать лет! Значит, никто не посмеет усомниться в моей полной ответственности...

8

Я просидел в тюрьме всего пять месяцев, но я был мальчишкой, и мне казалось, что я сижу годы: часы в заключении другие, чем на воле, и дни могут быть необыкновенно длинными. Иногда становилось очень тоскливо, особенно под вечер, когда доносились шумы улицы, но я старался совладать с собой – тюрьма в моем представлении была экзаменом на аттестат зрелости.

За полгода я успел ознакомиться с различными тюрьмами: Мясницкой полицейской частью, Суцевской, Басманной, наконец, с Бутырьками. Повсюду были свои нравы.

Тюрьмы были тогда переполнены, и неделю меня продержали в Пречистенском участке, ожидая, когда освободится место. В участке было шумно. Ночью приводили пьяниц, их нещадно лупили и сажали в пьянку – так называлась большая клетка, похожая на клетки зоопарка. Сторожили меня городовые, они часто сидя засыпали, а просыпаясь, зычно сморкались и бубнили что-то про беспокойную службу. Я думал о своем: глупо, что я не припрятал получше печать военной организации! Думал я также об Асе: обидно, мы так и не успели всего договорить!.. Меня возили в охранное отделение, там унылый зобастый фотограф приговаривал: «Голову повыше... теперь в профиль...» Я с детства увлекался фотографией, любил снимать, но не любил, когда меня фотографировали, а вот в охране обрадовался – значит, меня берут всерьез.

Меня отвезли в Мясницкую часть. Режим там был сносный. В крохотных камерах стояло по две койки. Некоторые надзиратели были добродушными, позволяли походить по коридору, другие ругались. Помню одного – когда я просил выпустить меня в отхожее место, он неизменно отвечал: «Ничего, подождешь...» Смотритель был человеком малограмотным; когда заключенным приносили книги для передачи, он сердился – не мог отличить, какие из них крамольные. В Государственном архиве я увидел его донесение, он сообщал в охранку, что отобрал принесенные мне книги – альманах «Земля» и сочинения Ибсена. Один раз он вышел из себя: «Черт знает что! Книгу для вас принесли про кнут. Не полагается! Не получите!» (Как я потом узнал, книга, его испугавшая, была романом Кнута Гамсуна).

В Мясницкой части сидел большевик В. Радус-Зенькович; мне он казался ветераном – ему было тридцать лет; сидел он не впервые, побывал в эмиграции. Моим соседом был тоже «старик» – человек с проседью. Разговаривая с ним, я старался не выдать, что мне семнадцать лет. Однажды начальник принес мне литературный альманах; я его дал соседу, который час спустя сказал: «А здесь для вас письмо». Под некоторыми буквами стояли едва заметные точки: книгу передала Ася. Я покраснел от счастья и от позора; в течение нескольких дней я боялся поглядеть соседу в глаза – чувства мне казались недопустимой слабостью.

Гуляли мы в крохотном дворике, среди огромных сугробов. Потом неожиданно снег посерел, стал оседать – близилась весна.

Иногда нас водили в баню, это были чудесные дни. Вели нас по мостовой; прохожие глядели на преступников – кто с удивлением, кто с жалостью. Одна старушка перекрестилась и сунула мне пятак: я шел крайним. В бане мы долго мылись, парились и чувствовали себя как на воле.

Наружную охрану несли солдаты жандармского корпуса; они заговаривали с нами, говорили, что они нас уважают – мы ведь не воры, а «политики». Некоторые соглашались передавать письма на волю. Тридцатого марта я послал письмо Асе. Вероятно, перед этим я получил от нее записку, которая меня огорчила, потому что писал: «Только сознание, что для дела важно, чтобы я имел известия с воли, чтобы я не отстал от движения, заставило меня обратиться к вам с просьбой писать мне». Мое письмо было найдено у Аси при обыске и приобщено к делу. По нему я вижу, что в тюрьме продолжал жить тем же, чем жил на воле.

«Приятно слышать, что дело, выдержав такие препятствия, все же идет вперед. Но то же ваше письмо говорит мне за мой план – новые члены клуба могут быть весьма симпатичными парнями, но в их социал-демократичности я весьма сомневаюсь, и их организационная работа сведется к игре деток». (Я перечитываю эти строки и улыбаюсь: семнадцатилетний мальчишка изобличает детские игры новых членов ученической организации!) Далее я писал об общих политических вопросах: “Замоскворецкое общество самообразования” не разрешено, “Трудовой союз” закрыт; правительство, очевидно, решило запереть дверь из подполья. Мы должны ее взломать. Только одно не следует забывать – это только вспомогательное средство, а не центральное, которое должно лежать в работе в подполье».

После того как у Аси нашли это письмо, меня перевели из Мясницкой части в Сущевскую. Новая тюрьма показалась мне раем. В большой камере на нарах спало множество людей; нельзя было повернуться без того, чтобы не разбудить соседа. Все спорили, кричали, пели «Славное море, священный Байкал...» Смотритель был пьяницей, любил деньги, коньяк, шоколадные конфеты, одеколон Брокера; любил также общество интеллигентных людей, говорил: «Вы, политики, – умницы...» Разрешений на свидания не признавал, нужно было положить в бумагу три рубля. Передавать можно было все, но начальник брал себе то, что ему особенно нравилось. Иногда, изрядно выпив, он приходил в камеру, улыбаясь, слушал споры эсдеков с эсерами и приговаривал: «Вот вы ругаетесь, а я всех вас люблю – и эсеров, и большевиков, и меньшевиков. Люди вы умные, а что с Россией будет, это одному господу богу известно...» У него был мясистый багровый нос в угрях, и от него всегда несло спиртом.

Некоторые заключенные возмущались: весь день крик, нельзя почитать. Выбрали старосту, очкастого меньшевика, он торжественно объявил, что с девяти часов утра до двенадцати шуметь запрещается. Ровно в девять три анархиста начали хрипло горланить: «Пусть черное знамя собой означает победу рабочего люда...» Они не признавали никакого регламента, даже смотритель перед ними робел: «Вы это того... преувеличиваете». (Когда в 1936 году мне привелось провести полгода с анархистами на Арагонском фронте, я вспоминал не раз камеру в Сущевской части).

Беспорядок, впрочем, царил не только в нашей камере, но и в охранке: в одной камере сидели и люди, случайно арестованные, которые ждали со дня на день освобождения, и террористы, обвиняемые в вооруженных налетах, им грозила виселица. Неделью просидел церковный староста, его взяли по ошибке – разыскивали однофамильца; он каждому из нас обстоятельно доказывал, что он жертва случая, что он вполне благонадежен даже в помыслах, и никак не мог понять, почему мы в ответ смеялись. А когда пришли и сказали, что он может идти домой, он перепугался, стал говорить, что теперь-то его наверняка приведут назад – столько он наслушался за неделю недозволенного. Один эсер, участник вооруженной экспроприации, ждал смертной казни. Звали его Иванов (не знаю, была ли это подлинная фамилия). Он симулировал сумасшествие. Вначале он ограничивался кратковременными буйными припадками, потом не то переменил тактику, не то действительно тронулся, но круглые сутки изводил нас криками, похожими на клекот птицы, беспричинным смехом, несвязными разговорами.

Следствие по моему делу вел жандармский полковник Васильев. Он старался расположить меня к себе, говорил о язвах режима, о том, что он в душе сторонник прогресса. Порой он льстил мне, порой изводил меня иронией пожилого и неглупого циника. Ему очень хотелось узнать, кто автор статьи «Два года единой партии», скоро ли произойдет новый раскол, какова позиция Ленина. На вопросы я отвечал односложно: различные документы мне переданы различными лицами, назвать которых я отказываюсь. Он заводил разговор на общие темы – о Горьком, о роли молодежи, о будущем России; говорил мне: «У меня сын вашего возраста, болван, ничем не интересуется – танцы, барышни, ликеры. А с вами приятно пого-

ворить, вы юноша оригинальный, да и начитанный». Во время одного из допросов он начал читать вслух письмо от Аси, отобранное у меня при аресте. Я возмутился, кричал, что это не относится к допросу, что я не допущу издевательства. Он был очень доволен, называл меня «юношей с темпераментом», предлагал чай с печеньем, я отказывался. Однажды он рассказал мне, что к нему пришла девушка, которая сказала, что она моя двоюродная сестра по матери и просит о свидании со мной. «Я спросил ее, а как зовут вашу мамушку, а она даже отчества не знала. Зачем вы таких дур берете в свою организацию? Я ее не задержал. Вы, конечно, догадываетесь, о ком я говорю? Яковлева. Ася». Я еле сдержался, чтобы не выдать себя, и равнодушно ответил, что все это не относится к делу.

Полковник мне солгал. Вскоре после того, как Ася приходила к нему с просьбой о свидании, у нее был произведен обыск; на беду, мое письмо из тюрьмы лежало у нее запечатанное на столе – она не успела его прочитать и уничтожить. Восьмого апреля Асю арестовали и привлекли к делу об ученической организации, а две недели спустя выпустили под залог в двести рублей.

Разумеется, я ненавидел полковника Васильева, но он казался мне интересной фигурой, хитрым следователем из романа. Я ведь думал, что все жандармы глупые и невежественные держиморды.

Жандармское управление помещалось на Кудринской площади. Возили меня на извозчике; рядом сидел жандарм. Я жадно разглядывал прохожих – вдруг окажется знакомый?.. Шли мастеровые, франты, гимназистки, военные. В палисадниках цвела сирень. Ни одного знакомого...

На последнем допросе мне сказали, что будут привлечены к суду за участие в ученической организации РСДРП Эренбург, Осколков, Неймарк, Львова, Ивенсон, Соколов и Яковлева – первая часть 126 статьи. Помимо этого, я буду привлечен по первой части 102 статьи за участие в военной организации. Васильев, усмехаясь, пояснил: «Вам лично должны дать шесть лет каторжных работ, но треть скостят по несовершеннолетию. Потом – вечное поселение. Оттуда вы удерете – я вас знаю...»

Некоторые заключенные, воспользовавшись разгильдяйством начальника Суцевки, организовали побег; насколько я помню, удалось убежать четверым. Впервые я увидел смотрителя мрачным. Не знаю, остался ли он на своем посту, но мы поплатились: нас тотчас перевели в различные места заключения как «соучастников побега».

Увидев меня, смотритель Басманной части гаркнул: «Снимай портки!» Начался личный обыск. Из рая я попал в ад. Увесистая оплеуха быстро меня ознакомила с новым режимом. В Басманке мы объявили голодовку, требуя перевода в другую тюрьму. Помню, как я попросил товарища, чтобы он плюнул на хлеб, – боялся, что не выдержу и отщипну кусок...

Меня перевели в одиночную камеру Бутырской тюрьмы; для меня это было наказанием – дело, разумеется, в возрасте; если бы теперь мне предложили на выбор общую камеру в Суцевке или одиночку, я ни минуты не колебался бы; но в семнадцать лет коротать время с самим собой нелегко, да еще без свиданий, без писем, без бумаги.

Я попробовал перестукиваться, никто не ответил. На прогулку меня не пускали. В маленькое оконце врвался яркий свет летнего дня. Воняла параша. Я начал читать вслух стихи – надзиратель пригрозил, что посадит меня в карцер. Я потребовал бумагу для заявления и написал в жандармское управление, что «содержащийся в Московской пересыльной тюрьме Илья Эренбург» не хочет дольше сидеть за решеткой: «Прошу немедленно освободить меня из-под стражи. Если же меня хотят заморить или свести с ума до суда, то пусть мне заявят об этом». Я переписываю эти строки и смеюсь, а когда я их писал, мне было совсем не смешно. Заявление пронумеровали и приобщили к делу.

Тюремный врач нашел, что я болен острой формой неврастения. Он многого не знал: я продолжал думать о различных партийных делах, об использовании для партийной работы

кооперации, о некоторых рабочих с завода Гужона, которых следовало выдвинуть вперед; сочинял без бумаги «ответ Плеханову». Думал я и о том, что Ася сдала экзамены, поступает на Высшие курсы – вряд ли наши пути в жизни сплетутся. Думал я в тюрьме и не только об этом: я начал думать о жизни, о тех больших и не вполне ясных вопросах, о которых не успел задуматься на воле. В общем, и тюрьма хорошая школа, если только тебя не секут, не пытаются и если ты знаешь, что посадили тебя враги и что о тебе дружески вспоминают единомышленники.

«С вещами!..» Я подумал, что меня переводят в новую тюрьму, но мне показали бумагу: «Распишитесь». Меня выпускали до судебного разбирательства под гласный надзор полиции; я должен был незамедлительно покинуть Москву и выехать в Киев.

Я вышел на Долгоруковскую и замер. Все можно забыть, а вот этого не забудешь! В спокойные времена в спокойной стране человек растет, учится, женится, работает, хворает, дряхлеет; он может прожить всю жизнь, так и не поняв, что такое свобода; вероятно, он всегда чувствует себя свободным в той мере, в которой положено быть свободным пристойному гражданину, обладающему средним воображением. Выйдя из тюремных ворот, я остолбенел. Извозчики, парень с гармошкой, лоток, молочная Чичкина, булочная Савостьянова, девушки, собаки, десять переулков, сто дворов. Можно пойти прямо, свернуть направо или налево... Вот тогда-то я понял, что такое свобода, понял на всю жизнь.

(Никогда я не мог разгадать пушкинских строк: «На свете счастья нет, но есть покой и воля...» Много раз я думал над этими словами, но так их и не понял: жизнь изменилась. В 1949 году я сидел рядом с С. Я. Маршаком в партере Большого театра; на сцене произносили речи о Пушкине – это был юбилейный вечер. Потом мы пошли в кафе на углу Кузнецкого Моста. Я спросил Самуила Яковлевича, о каком счастье мечтал Пушкин, помимо покоя и воли; Маршак ничего не ответил).

А на Долгоруковской я долго стоял и улыбался; потом пошел домой, на Остоженку, мимо Страстной площади, там я поздоровался с Пушкиным, шел по зеленым бульварам, шел и все время улыбался.

9

Из Киева меня скоро выслали и заодно почему-то запретили проживание в Киевской, Волынской и Каменец-Подольской губерниях. Я получил проходное свидетельство в Полтаву: там жил брат моей матери, либеральный адвокат.

Город мне показался милым: тихие улицы, сады с золотыми деревьями, белые домики; но «гласный надзор полиции» мог отравить жизнь и в идиллической Полтаве. Конечно, дядюшка меня любезно принял, но я понял, что чем реже буду у него бывать, тем ему будет спокойнее. Я начал поиски комнаты; приходилось предупреждать квартировладельцев, что я состою под надзором полиции. После такого предупреждения мне неизменно отказывали – одни грубо, другие с виноватым видом, ссылаясь на тяжелые и без того условия. Наконец я попал к мужскому портному Браве, который, посоветовавшись с женой, решил сдать мне комнатушку. Я вынул книги, тетради и решил прочно обосноваться в Полтаве. Разумеется, я надеялся продолжать подпольную работу; у меня был адрес одного рабочего – мне его дали в Киеве. В течение недели я ходил с одного конца города в другой, желая убедиться, что за мной не следует шпик.

Одиннадцатого ноября 1908 года начальник полтавского жандармского управления полковник Нестеров писал: «По организации РСДРП доношу, что вновь вошедшие лица в сферу наблюдения за октябрь» – следовал список, и в нем «Илья Григорьев Эренбург – студент». Жалко, что с его донесением я ознакомился полвека спустя: наверно, мне польстило бы, что он принял меня за студента.

Мне трудно было бы вспомнить некоторые подробности моей полтавской жизни; на помощь еще раз пришли архивы полиции: «Копия с полученного агентурным путем письма поднадзорного Ильи Григорьева Эренбурга. Полтава от 21 сентября 1908 г. к Симе в Киев. “Уважаемый товарищ! Сообщаю некоторые сведения о состоянии Полтавских организаций. Существуют 2–3 кружка, сил нет. Вообще положение плачевное. Говорить при таких условиях о конференции по меньшей мере смешно... Меня как “большевика” долго не пускали, да и теперь держат на “исключительном положении”. Очень просил бы вас выслать несколько десятков “Южного пролетария”, а также сообщить, что у вас нового”».

Я не помню Симы, но вспоминаю, что в Полтаве была меньшевистская организация, и, будучи большевиком, к тому же чрезвычайно молодым и чрезвычайно дерзким, я напугал милого тщедушного меньшевика с чеховской бородкой, который приговаривал: «Нельзя же так – все сразу, право, нельзя...» Мне удалось, однако, связаться с тремя большевиками, работавшими в железнодорожном депо, и написать две прокламации.

Я должен был раз в неделю являться в участок, но «гласный надзор» этим не ограничивался: то и дело ко мне приходили городовые, будили на рассвете, стучали в окошко ночью. Как-то, возвратившись домой, я увидел на моей постели городского в башлыке; он укоризненно сказал «все ходите», взял со стола тетрадку-конспект «Истории философии» Куно Фишера, – аккуратно связал веревкой мои книги и уволок их.

Портной Браве, всхлипывая, попросил меня освободить комнату: в участке ему сказали, что, если он меня не выдворит, у него будут крупные неприятности. Снова начались унижительные поиски жилья. На третий или четвертый день я нашел удобную комнату, и хозяин в ответ на мое предупреждение рассмеялся: «Я сам поднадзорный...» Он сочувствовал эсерам, и мы по ночам спорили о роли личности в истории; иногда нашу дискуссию прерывал очередной визит городского.

Дядя предложил мне пойти в окружной суд он защищал горемыку, которого обвиняли в краже. Я начал каждый день ходить на судебные разбирательства – они мне показались куда интереснее романов. Я знал, что люди живут плохо, помнил казармы Хамовнического

завода, видел ночлежки, ночные чайные, пьяниц, людей жестоких и темных, увидел тюрьму. Но все это было извне, а на суде передо мной раскрывались сердца людей. Почему тихая, скромная крестьянка зверски убила соседа? Почему старик зарезал падчерицу, с которой он жил? Почему люди верили рябому, уродливому чудотворцу? Почему они полны темноты, предрассудков, бурных и непонятных им самим страстей? Я и до того знал, что есть «база» и «надстройка», но в Полтаве я впервые серьезно задумался над уродливостью и вместе с тем прочностью «надстройки». Прежде мне казалось, что можно изменить людей в двадцать четыре часа – стоит только пролетариату взять в свои руки власть. Слушая признания подсудимых, показания свидетелей, я понял, что все не так просто. Я взял из библиотеки рассказы Чехова.

В Полтаве я продержался всего полтора месяца. Меня вызвал полицмейстер и сказал, что мне придется покинуть город. «Куда вы намереваетесь отправиться?» Я ответил первое, что мне пришло в голову: «В Смоленск».

Я не знал, что причину хлопоты властям в Смоленске. Недавно Р. Островская, научный сотрудник смоленского архива, прислала мне справку. Оказывается, полковник Нестеров сообщил своему коллеге в Смоленске, генералу Громыко, что «бывший студент Илья Григорьев Эренбург 10 ноября изъявил свое согласие перейти на жительство в гор. Смоленск, куда ему полтавским полицмейстером было выдано проходное свидетельство». Одновременно полковник Нестеров предупреждал генерала Громыко: «Означенный Эренбург, проживая в Полтаве, успел войти в сношение с лицами, принадлежащими к местной организации Российской социал-демократической рабочей партии». Двадцать четвертого ноября начальник смоленского жандармского управления приказал тотчас сообщить ему о моем приезде в Смоленск. Меня долго разыскивали.

Из Полтавы я поехал в Киев и неделю прожил там без прописки. Каждую ночь приходилось ночевать на новом месте. Как-то я пришел вечером по указанному адресу, звонил, стучался в дверь, но напрасно. Может быть, я неверно записал адрес, не знаю. Я шагал по Бибиковскому бульвару. Было холодно, падал мокрый снег. Навстречу шла молоденькая девушка, на ней были летние туфли. Она позвала меня: «Пойдем?» Я отказался. Час спустя мы снова встретились; она поняла, что у меня нет ночлега, отвела к себе в теплую комнату – «отогреешься», – дала пачку папирос (я не курил, но от папиросы никогда не отказывался), а сама пошла на бульвар – искать клиента.

(Среди проституток есть много женщин с нерастраченной нежностью. Это понял итальянский кинорежиссер Феллини, работая над «Ночами Кабирии». Я видел его последний фильм «Сладкая жизнь», фильм чрезвычайно жестокий, в нем, пожалуй, единственное теплое, человеческое – это римская проститутка, которая доброжелательно принимает у себя парочку богатых изломанных влюбленных).

В Москве меня ждали те же трудности. Домой я не мог пойти и не знал, где мне приютиться. Пришлось разыскивать знакомых, не связанных с подпольем, так называемых «сочувствующих». Один мой товарищ по гимназии, увидев меня, чрезвычайно испугался, стал говорить, что он сдает выпускные экзамены, что я могу погубить всю его жизнь, предлагал деньги и вытаскивал в переднюю. Ночевал я у одной акушерки; она так боялась, что не могла уснуть, да и мне не дала: все время ей казалось, что кто-то идет по лестнице, она плакала и жадно глотала эфирно-валериановые капли. Вскоре ночевки иссякли. Я провел ночь на улице. Я ходил и думал: вот мой город, вот дом, куда я приходил, и для меня нет места!.. Глупые мысли, их оправдывает только молодость.

Еще более глупым было дальнейшее: я направился в жандармское управление и заявил, что предпочитаю тюрьму «гласному надзору». Полковник Васильев долго надо мной смеялся, потом сказал: «Ваш батюшка подал заявление о том, чтобы вам разрешили кратковременный выезд за границу для лечения». Я решил, что полковник надо мной издевается, но он

показал мне бумагу о том, что на юридическом языке называется «изменением меры пресечения». В бумаге говорилось, что надзор полиции признан недостаточным и что «для обеспечения явки на судебное разбирательство» мой отец должен внести за меня залог в размере пятисот рублей. (За Кору Ивенсон взяли четыреста, за Неймарка – триста, за Яковлеву – двести, за Осколкова – сто. Не знаю, кто устанавливал расценку и чем он руководствовался).

Обвинительный акт был вручен обвиняемым полтора года спустя – 31 мая 1910 года. Я тогда жил в Париже и писал стихи о средневековых рыцарях. Меня официально уведомили, что мой отъезд за границу был произведен незаконно, ибо «закон исключает возможность разрешения обвиняемым пребывания за границей, то есть за пределами досягаемости». Отцу было объявлено, что внесенный им залог «на основании 427 статьи Устава уголовного уложения будет обращен в капитал на устройство мест заключения».

(Судебная палата в сентябре 1911 года разбирала дело об ученической организации; дело о скрывшихся Эренбурге и Неймарке выделили и отложили до розыска виновных. Судили тех, у кого ничего не нашли. Защитники не без основания указывали, что зачинщики скрылись. Осколкова приговорили к восьми месяцам заключения, остальных оправдали).

Уезжать за границу мне не хотелось: все, чем я жил, было в России. Я разыскал одного из товарищей, он сказал: «Поезжайте. Вам нужно пополнить политическое образование. Ленин теперь не в Женеве, а в Париже. Поезжайте в Париж, там вы найдете Савченко, Людмилу...»

Я решил пробыть в Париже год, а потом нелегально вернуться в Россию. «Только в Париж», – сказал я родителям. Мать плакала: ей хотелось, чтобы я поехал в Германию и поступил в школу; в Париже много соблазнов, роковых женщин, там мальчик может свихнуться...

Я уезжал с тяжелым сердцем и с еще более тяжелым чемоданом: туда я положил любимые книги. На мне было зимнее пальто, меховая шапка, ботинки.

Седьмого декабря 1908 года генерал Громыко сообщал полтавскому полковнику Нестерову, что «Илья Григорьев Эренбург в гор. Смоленск до сего времени не прибывал». В тот самый день Илья Григорьев, высунувшись из окна вагона третьего класса, недоверчиво глядел на зеленую траву и на маленькие домики парижских пригородов.

10

Я хорошо помню декабрьский день, когда я вышел из Северного вокзала на грязную шумную площадь. Меня удивил ветер – в нем чувствовалось дыхание моря; мне стало весело и тревожно. Чемоданы я оставил в камере хранения и почувствовал себя сразу свободно. Правда, одет я был несуразно, но никто не обращал на меня внимания, в первые же часы я понял, что в этом городе можно прожить незаметно – никто тобой не интересуется.

Я зашел в бар. У цинковой стойки стояли краснолицые извозчики в цилиндрах; они пили загадочные напитки – багровые и зеленые. Я вспомнил московских извозчиков, и защемило сердце – эти ведь не станут говорить про овес... Я заказал кофе. Хозяйка меня о чем-то спросила, я не понял. (Я был убежден, что могу говорить по-французски – учился в гимназии, брал частные уроки; но выяснилось, что я знаю несколько сот слов, которые Расин вставлял в свои трагедии, а самых необходимых в жизни не понимаю). Мне дали черный кофе в бокале и рюмочку рома. Я испугался, но выпил.

Я знал, что русские эмигранты живут неподалеку от Латинского квартала, и спросил полицейского, как мне туда добраться. Он мне показал на омнибус: в Париже оказалась наша конка, только без рельсов и двухэтажная. Я взобрался на империал и сел рядом с кучером; в руке у него был длинный кнут. Он то и дело засыпал: на его нижней губе дрожал погасший окурок сигареты. Просыпаясь, он начинал петь; так как он много раз просыпался, то в конце концов я понял первые слова песни: «Сердце цыгана это вулкан...» Ему было под шестьдесят. Мне он казался даже не старым, а древним, как пепельные дома Парижа.

Путь был длинным – с одного конца города на другой. Мы пересекли Большие Бульвары; тогда это был центр города. Я вдруг догадался, что здесь не только другие нравы, но и другой календарь: сегодня двадцатое декабря, скоро рождество, вот почему всюду реклама – подарки, праздничные ужины. На Бульварах было множество палаток: в одних продавали всяческую дребедень, в других были огромные, непонятные мне игры-рулетки.

На углах улиц стояли певцы с нотами; они пели что-то грустное; зеваки, толпившиеся вокруг, подпевали. На тротуарах громоздились кровати, буфеты, шкафы – мебельные магазины. Вообще все товары были на улице: мясо, сыры, апельсины, шляпы, ботинки, кастрюли. Меня удивило количество писсуаров; на них было написано: «Лучший шоколад Менье», внизу краснели штаны солдат. Ветер был холодный, но люди не торопились: они не шли куда-то, а прогуливались.

Кафе были с террасами, и на многих террасах чадили жаровни; возле них сидели почтенные старики. Мне захотелось написать Асе, сестрам, Наде Львовой, что в Париже топят улицу. Никто не поверит!..

На бульваре Себастополь я увидел паровой трамвай, он трагически свистел. Извозчики гикали и щелкали бичами. Пролеток не было, у извозчиков были кареты, как у московского генерал-губернатора. Я увидел, что в одной карсте едет парочка, они целовались; я поспешно отвернулся, чтобы не помешать им. Иногда дорогу пересекали кареты без лошадей – автомобили; они гудели, грохотали, и лошади шарахались в ужасе.

Я дал кондуктору серебряную монету; он попробовал ее на зуб и, заметив мое изумление, весело улыбнулся. Никогда прежде я не видел на улице столько людей. Москва мне показалась милым, спокойным детством.

Отчаянно кричали газетчики: «Ля пресс!», «Ля патри!» Я думал, что приключилось важное событие. Может быть, Германия объявила войну? Или эсеры бросили бомбу в Столыпина? Конечно, индивидуальный террор ничего не может решить, но все-таки приятно... Газетчик на ходу вскочил в омнибус. Я купил газету. На первой странице был большой порт-

рет неизвестного мне человека. Я долго изучал заголовки и понял, что этот человек убил свою любовницу, положил труп в сундук и отправил малой скоростью в Нанси.

Я не знал, где мне нужно слезть, чтобы попасть в Латинский квартал, и наконец спросил кучера. Он засмеялся и сказал: «Слезайте». Это было на площади Денфер-Рошере. Посередине площади был памятник: сердитый лев глядел прямо на меня; я прочитал на цоколе, что он поставлен в память защиты Бельфора от пруссаков. Я с радостью подумал, что увижу Стену коммунаров. В Москве я устраивал лекцию В. П. Потемкина для студентов и гимназистов; он красиво говорил и кончил словами: «Коммуна умерла, да здравствует Коммуна!» Прохожие в моем представлении сливались с санкюлотами, со львиным мужеством защитников Бельфора и с коммунарами, о которых я знал по книжке Лиссагаре.

Но нужно найти комнату... Гостиниц было очень много; я выбрал одну, с самой маленькой вывеской, – наверно, здесь дешевле. Хозяйка дала мне медный подсвечник, закапанный стеарином, большой ключ и крохотное полотенце, похожее на салфетку. Я протянул ей паспорт, но она ответила, что это ее не интересует. В номере стояла очень большая, высокая кровать, занимавшая почти всю комнату. Пол был каменный. Я принял окно за дверь на балкон, балкона, однако, не оказалось; я увидел, что во всех домах такие же окна – прямо от пола. А вот стола в номере не было. Удивительно, даже в комнатухе портного Браве стоял стол... В номере было холодно. Я спросил хозяйку, нельзя ли затопить камин. Она ответила, что это очень дорого, и обещала положить мне на ночь в кровать горячий кирпич. (На следующий день я все же решил разориться, и коридорный принес мне мешок с углем. Я не знал, как зажечь камин, – уголь был каменным; положил газеты, щепки, все быстро сгорело, а проклятый уголь не зажигался; я вымазал лицо и уснул снова в холодной комнате).

Сидеть в номере было глупо. Я отложил поиски Савченко и Людмилы на следующий день и пошел бродить по Парижу. Мужчины были в котелках, женщины в огромных шляпах с перьями. На террасах кафе влюбленные преспокойно целовались; я даже перестал отворачиваться. По бульвару Сен-Мишель шли студенты, шли по мостовой, мешая движению, но никто их не разгонял. Сначала мне показалось, что это демонстрация, но нет, они просто развлекались. Продавали жареные каштаны. Стал накрапывать дождик. В Люксембургском саду трава была нежно-зеленая. В декабре!.. Мне было очень жарко в ватном пальто. (Ботинки и меховую шапку я оставил в гостинице). Пестрели яркие афиши. Все время мне казалось, что я в театре.

Я долго прожил в Париже; различные события, лица, обрывки фраз смешались в моей памяти; но первый парижский день я хорошо запомнил: этот город меня поразил. Самое удивительное, что он остался прежним; Москвы не узнать, а Париж все тот же. Когда я теперь приезжаю в Париж, мне становится невыразимо грустно – город тот же, изменился я; мне трудно ходить по знакомым улицам – это улицы моей молодости. Конечно, давно нет ни фиакров, ни омнибусов, ни парового трамвая; неоновые вывески куда ярче прежних; редко можно увидеть кафе с красными бархатными или кожаными диванами; писсуаров осталось мало, они спрятались под землю. Но ведь это мелочи. По-прежнему люди живут на улице, влюбленные целуются, где им вздумается, никто ни на кого не обращает внимания. Старые дома не изменились – что им лишнего полвека, в их возрасте это нечувствительно. Слов нет, изменился мир, – следовательно, и парижане должны думать о многом, о чем они раньше не подозревали: об атомной бомбе, о скоростных методах производства, о коммунизме. Но с новыми мыслями они все же остаются парижанами, и я убежден, что, если теперь попадет в Париж восемнадцатилетний советский паренек, он разведет руками, как я в 1908 году: «Театр...»

На следующий день я отправился в Латинский квартал. На бульваре Сен-Мишель я стал прислушиваться к разговорам прохожих: как только услышу русскую речь, спрошу, где здесь эмигрантская библиотека; там-то, наверно, мне скажут адрес Савченко и Людмилы.

Я потратил на поиски полдня. Библиотека помещалась на авеню де Гобелен, в глубине грязного двора. Я поднялся по винтовой лестнице в помещение, походившее на длинный сарай. Там стояли полки с книгами, лежали русские газеты, там я познакомился с библиотекарем, товарищем Мироном (Ингбером). Он был меньшевиком, это меня огорчило; но вскоре я понял, что он озабочен одним: не хочет, чтобы читатели зачитывали библиотечные книги. Он мне прочел длинную лекцию о том, как обращаться с книгой, я обещал никогда не загибать страниц и не делать на полях заметок. (Он все же подпустил шпильку – сказал, что именно некоторые большевики любят писать на библиотечных книгах). Потом он относился ко мне благосклонно: я начал писать стихи, а он обожал поэзию. Это был близорукий тихий и доброжелательный человек. Каждый вечер он отправлялся в маленькую пивную на улице Брока, там ел сосиски и работал – составлял каталог зарубежных изданий. Он не знал, где живут Савченко и Людмила, но сказал, что скоро придет кто-нибудь из большевистской группы. Действительно, два часа спустя я уже был на квартире, где жили Савченко и Людмила. У них были две маленькие комнаты, кухня с газом; в комнатах стояли раскладушки. Все напоминало студенческую квартиру где-нибудь на Козихах. Вот только газовая плитка меня заинтересовала... Савченко была заботливой женщиной лет тридцати (мне она казалась старухой). Она сразу начала меня опекать, сказала, что жить в гостинице дорого и что завтра она пойдет со мной, мы найдем меблированную комнату, это нетрудно – у подъезда висит желтое объявление. А вот сегодня вечером они возьмут меня на собрание большевистской группы – там будет Ленин...

Мы обедали, я нервничал, глядел на часы – не опоздать бы! Конечно, Савченко и Людмила рассказывают удивительные вещи о Париже, но если я сюда приехал, то с одной целью – увидеть Ленина.

11

Большевистская группа собиралась в кафе на авеню д'Орлеан, неподалеку от Бельфорского льва. На втором этаже имелся небольшой зал; как то принято в Париже, его предоставляли безвозмездно – посетители должны были оплачивать только кофе или пиво. Мы пришли одними из первых. Я спросил Савченко, что мне заказать; она ответила: «Гренадин. Все наши пьют гренадин...» Действительно, всем приносили ярко-красный приторный сироп, к которому добавляли сельтерскую воду. Только Ленин заказал кружку пива. (Потом я неоднократно слышал, как официанты удивлялись: революционеры, а пьют гренадин!.. Сироп французы прибавляют к чересчур горьким крепким напиткам; а в воскресенье, когда посетители приводят в кафе всю семью, малышей бесплатно угощают гренадином).

На собрании было человек тридцать; я глядел только на Ленина. Он был одет в темный костюм со стоячим крахмальным воротничком; выглядел очень корректно. Я не помню, о чем он говорил, но, будучи достаточно дерзким мальчишкой, я попросил слова и в чем-то возразил. Он ответил мне мягко, не обругал, а разъяснил – я того-то не понял... Людмила мне сразу сказала, что я поступил глупо. Когда собрание кончилось, Владимир Ильич подошел ко мне: «Вы из Москвы?..» Я ему объяснил, что в московской организации работал до января, потом был арестован, попытался устроиться в Полтаве, там отыскивал товарищей. Ленин сказал, чтобы я к нему зашел.

Я разыскал дом на улочке возле парка Монсури (теперь я проверил – это была улица Бонье). Я долго стоял у двери – не решался позвонить; от недавней дерзости не осталось следа. Дверь открыла Надежда Константиновна. Ленин работал; он сидел, задумавшись, над длинным листом бумаги; чуть щурил глаза.

Я рассказал ему о провале ученической организации, о статье «Два года единой партии», о положении в Полтаве. Он внимательно слушал, иногда едва заметно улыбался, мне казалось – он догадывается, что я еще мальчишка, и это путало мои мысли. Я сказал, что помню на память адреса для рассылки газеты. Надежда Константиновна адреса записала. Я хотел уходить, но Владимир Ильич меня удержал; он стал расспрашивать, как настроена молодежь, кого из писателей больше читают, популярны ли сборники «Знания», на каких спектаклях я был в Москве – у Корша, в Художественном театре. Он ходил по комнате, а я сидел на табурете. Надежда Константиновна сказала, что время обедать; я решил, что засиделся, по меня оставили, накормили. Меня удивил порядок: книги стояли на полке, на рабочем столе Владимира Ильича ничего не было накидано – не похоже ни на комнаты моих московских товарищей, ни на квартиру, где жили Савченко и Людмила. Владимир Ильич несколько раз повторил Надежде Константиновне: «Вот прямо оттуда... Знает, чем живет молодежь...»

Меня поразила его голова. Я вспомнил об этом пятнадцать лет спустя, когда увидел Ленина в гробу. Я долго глядел на этот изумительный череп; он заставлял думать не об анатомии, но об архитектуре.

(Много лет спустя после смерти Ленина я взял воспоминания Н. К. Крупской. Надежда Константиновна писала, что Ленин прочитал мой первый роман. «Это, знаешь, Илья Лохматый (кличка Эренбурга), – торжествующе рассказывал он. – Хорошо у него вышло». Я был у Владимира Ильича в самом начале 1909 года; и я не знал, что снова с ним мысленно разговаривал – незадолго до его смерти – в 1922 или 1923 году, когда он читал мою книгу «Хулио Хуренито»).

Несколько раз я слышал Ленина на собраниях; говорил он спокойно, без пафоса, без красноречия; слегка картавил; иногда усмехался. Его речи походили на спираль: боясь, что его не поймут, он возвращался к уже высказанной мысли, но никогда не повторял ее, а при-

бавлял нечто новое. (Некоторые из подражавших впоследствии этой манере говорить, забывали, что спираль похожа на круг и не похожа – спираль идет дальше).

Ленин внимательно следил за политической жизнью Франции, изучал ее историю, ее экономику, знал быт парижских рабочих. Он не только говорил по-французски, но и мог писать на этом языке статьи.

В мае 1909 года я был на демонстрации у Стены коммунаров. Впереди шли участники Коммуны; их было еще много, и они бодро шагали. Мне они показались глубокими стариками; я думал о Коммуне, как о странице древней истории, – ведь это было тридцать восемь лет назад! У Стены коммунаров я увидел Ленина; он стоял среди группы большевиков и глядел на стену – из камня выступали тени федератов.

Видел я Ленина и в библиотеке Сент-Женевьев, и на скамейке в парке Монсури, среди старух и детишек, и в рабочем театре на улице Гэтэ, где певец Монтегюс пел революционные песенки.

В пылу полемики против эсеров, пренебрегавших законами развития общества, я, разумеется, отрицал всякую роль личности в истории. Несколько лет назад я задумался над фразой из письма Энгельса: «Маркс и я отчасти сами виноваты в том, что молодежь иногда придает больше значения экономической стороне, чем это следует. Нам приходилось, возражая нашим противникам, подчеркивать главный принцип, который они отрицали, и не всегда находилось достаточно времени, места и повода отдавать должное и остальным моментам, участвующим во взаимодействии». Пример Ленина поставил многое на свое место.

Когда я пришел к Владимиру Ильичу, консьержка мне строго сказала: «Вытрите ноги». Разве она понимала, кто ее жилец? Разве понимал официант кафе на авеню д'Орлеан, что о господине, который заказывает кружку пива, восемь лет спустя будет говорить весь мир? Разве догадывались посетители библиотеки, что человек, аккуратно выписывающий из книг цифры и имена, изменит ход истории, что о нем будут писать десятки тысяч авторов на всех языках мира? Да разве я, с благоговением глядевший тогда на Владимира Ильича, мог себе представить, что передо мной человек, с которым будет связано рождение новой эры человечества?

Владимир Ильич был в жизни простым, демократичным, участливым к товарищам. Он не посмеялся даже над нахальным мальчишкой... Такая простота доступна только большим людям; и часто, думая о Ленине, я спрашивал себя: может быть, воистину великой личности чужд, даже неприятен, культ личности?

Ленин был человеком большим и сложным. В бурные годы гражданской войны после исполнения сонаты Бетховена Исаем Добровейном Ленин сказал А. М. Горькому: «Ничего не знаю лучше “Appassionata”, готов слушать ее каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть, наивной, думаю: вот какие чудеса могут делать люди!» И, прищурясь, он прибавил невесело: «Но часто слушать музыку не могу, действует на нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гладить по головке никого нельзя – руку откусят, и надобно бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы, в идеале, против всякого насилия над людьми. Гм-гм, – должность адски трудная!»

Я выписал эту длинную цитату из воспоминаний Горького, потому что она слишком тесно связана с моей жизнью и с моими мыслями, нет, местоимение не то – с нашим веком, с нашей судьбой.

12

Мне довелось повидать различные эмиграции – левые и правые, богатые и нищие, уверенные в себе и растерянные; видел я и русских, и немцев, и испанцев, и французов. Одни эмигранты вздыхали о прошлом, другие жили будущим. Но есть нечто общее между эмигрантами различных толков, различных национальностей, различных эпох: отталкивание от чужбины, где они очутились не по своей воле, обостренная тоска по родине, потребность жить в тесном кругу соотечественников и вытекающие отсюда неизбежные распри.

Старый большевик А. С. Шаповалов попал в эмиграцию после революции 1905 года; он рассказывает, как возмущались его товарищи бельгийскими нравами: «Ну ее к черту, эту Бельгию, с ее хваленой свободой!.. Оказывается, что здесь не смей после десяти часов вечера в своей же комнате ни ходить в сапогах, ни петь, ни кричать». Задолго до этого Герцен, описывая эмиграцию в Лондоне, говорил, что «француз не может примириться с “рабством”, по которому трактиры заперты в воскресенье».

Взрослые растения трудно пересаживать, они болеют, часто гибнут. Теперь у нас применяется зимняя пересадка: дерево выкапывают, когда оно в летаргии. Весной оно возвращается к жизни на новом месте. Хороший метод, особенно потому, что у дерева нет памяти...

Я помню Мигеля Унамуно в Париже – он был эмигрантом во времена Примо де Ривера; он сидел в кафе «Ротонда» и вырезывал из бумаги драконов и быков; потом к его столику присаживались испанцы, и Унамуно говорил им, что во Франции нет, не было, да и никогда не будет Рыцаря Печального Образа. (Он сам походил на Дон-Кихота). Помню Эрнста Толлера в Лондоне, задыхающегося от туманов и лицемерия; он не выдержал жизни в изгнании и покончил с собой. Жан-Ришар Блок годы войны провел в Москве; человек большой воли, он старался не выдать своей тоски, но, когда он говорил о Франции, его печальные глаза становились еще печальнее; на стене комнаты в гостинице «Националь» висела голубая бумажка – обертка давно выкуренных французских сигарет. Пабло Неруда сидел в комнате пражской гостиницы, большой и неподвижный, похожий на бога древних ацтеков; но стоило ему заговорить о раковинах на тихоокеанском побережье, как его лицо оживлялось; он с негодованием рассказывал о проделках одного из чилийских диктаторов – с негодованием и в то же время с нежностью: как-никак диктатор был чилийцем. В 1946 году, находясь в Париже, я пошел проведать А. М. Ремизова, тяжело больного, сгорбленного в три погибели. Он был одинок, жил в нищете и в томлении. Почему он очутился в эмиграции? Вряд ли он сам смог бы это объяснить. Он говорил, что во сне видит всегда Россию, давних друзей, Петербург студенческих лет. А в комнате висели русские картинки, русские зверушки и, конечно же, русские чертяки.

В 1932 году я писал про белых эмигрантов: «Вокруг них жизнь, к которой они, по существу, никак не причастны. Они живут в Париже, как в чердачной конуре роскошной гостиницы. Разучившись говорить по-русски, они не овладели французским языком. Они плачут, когда смотрят в маленьком русском театре “Дети Ванюшина”. Они мурлычут песенки Вертинского. Они ходят на вечера различных “землячеств”. Они не могут расстаться даже со старым календарем и встречают Новый год 13 января. В одной русской квартире я видел самовар, воду для него нагревали на газовой плитке».

Все отличало дореволюционную эмиграцию от белой. Русские беженцы, добравшиеся после революции до Парижа, поселились в буржуазных кварталах – в Пасси, в Отэй; а революционная эмиграция жила на другом конце города, в рабочих районах Гобелен, Итали, Монруж. Белые пооткрывали рестораны «Боярский теремок» или «Тройка»; одни были владельцами трактиров, другие подавали кушанья, третьи танцевали лезгинку или камаринскую, чтобы позабавить французов. А эмигранты-революционеры ходили на собрания фран-

цузских рабочих; эсеры спорили с эсдеками, «отзовисты» – со сторонниками Ленина. Разные люди – разная и жизнь...

Если я заговорил о некоторых чувствах, присущих всем людям, оказавшимся поневоле на чужбине, то только для того, чтобы объяснить мое душевное состояние, когда в январе 1909 года я наконец-то снял меблированную комнату на улице Данфер-Рошере, разложил привезенные с собой книги, купил спиртовку, чайник и понял, что в этом городе я надолго. Конечно, Париж меня восхищал, но я сердился на себя: нечем восхищаться!.. Я уже не был ребенком, меня пересадили без кома земли, и я болел. Турист может восторгаться не виданной им природой, чужими нравами, он ведь приехал для того, чтобы смотреть; а эмигрант и восторгаясь отворачивается. Здесь нет весны, думал я в тоске. Разве французы могут понять, как идет лед, как выставляют двойные рамы, как первые подснежники пробивают ледяную кору? В Париже и зимой зеленела трава. Зимы вообще не было, и я печально вспоминал сугробы Зачатьевского переулка, Надю, облачко возле ее губ, тепло руки в муфте. Бог ты мой, сколько во Франции цветов! Ползли по стенам душистые глицинии, в каждом палисаднике были чудесные розы. Но, глядя на лужайки Медона или Кламара, я огорчился: где же цветы? Как молитву, я повторял: мать-и-мачеха, иван-да-марья, купальница, львиный зев...

Французы мне казались чересчур вежливыми, неискренними, расчетливыми. Здесь никто не вздумает раскрыть душу случайному попутчику, никто не заглянет на огонек; пьют все, но никто не запьет с тоски на неделю, не пропьет последней рубашки. Наверно, никто и не повесится...

Повесился Виталий. Говорили, что он запутался, залез в долги, выдавал чужие стихи за свои; мне он часто говорил, что ему «тошно» в Париже. Я бывал у Тамары Надольской, худой девушки с глазами лунатика. Мы говорили о России, о больших чувствах, о цели жизни. Жила она в мансарде; в оконце был виден огромный чужой город. Она повторяла, что все в жизни оказалось не таким, как она думала. Она выбросилась из оконца на мостовую. Таню Рашевскую я знал еще в Москве, она была сестрой моего школьного товарища Васи; сидела в тюрьме, уехала в Париж, поступила на медицинский факультет, вышла замуж за красивого румына, потом отравилась. На похороны приехала ее мать из Москвы; уломали попа, дали всем свечи, дьякон пел: «И презревши все прегрешения...»

Иногда я ходил на доклады – их называли «рефератами». Мы собирались в большом зале на авеню де Шуази; зал был похож на сарай; зимой его отапливали посетители. А. В. Луначарский рассказывал о скульпторе Родене. А. М. Коллонтай обличала буржуазную мораль. Порой врывались анархисты, начиналась потасовка.

(Когда я начал писать стихи, А. В. Луначарский меня приободрил, говорил мне, что можно быть революционером и любить поэзию. Анатолий Васильевич был для меня мостом – он связывал мое отрочество с новыми мечтами. Можно увидеть в воспоминаниях о нем: «огромная эрудиция», «всесторонняя культура». Меня поражало другое: он не был поэтом, его увлекала политическая деятельность, но в нем жила необычайная любовь к искусству, он как будто был неизменно настроен для восприятия тех неуловимых волн, которые проходят мимо ушей многих. Впоследствии, изредка с ним встречаясь, я пытался спорить: его оценки мне были чужды. Но он был далек от желания навязать свои восприятия другим. Октябрьская революция поставила его на пост народного комиссара просвещения, и, слов нет, он был добрым пастырем. «Десятки раз я заявлял, что Комиссариат просвещения должен быть беспристрастен в своем отношении к отдельным направлениям художественной жизни. Что касается вопросов формы – вкус народного комиссара и всех представителей власти не должен идти в расчет. Предоставить вольное развитие всем художественным лицам и группам. Не позволить одному направлению затирать другое, вооружившись либо приобретенной традиционной славой, либо модным успехом». Обидно, что различные люди, ведающие искусством или им интересующиеся, редко вспоминали эти разумные слова. В 1933

году Луначарского назначили послом в Мадрид. Он приехал в Париж и слег. Я пришел к нему в гостиницу. Он понимал, что смерть близка, и говорил об этом. Жена попыталась отвлечь его, но он спокойно ответил: «Смерть – серьезное дело, это входит в жизнь. Нужно уметь умереть достойно...» Помолчав, он добавил: «Вот искусство может научить и этому...»)

Денег у меня было мало, и я считал, что тратить на обед не стоит: можно выпить кофе с молоком у цинковой стойки бара с пятью рогаликами. Все же иногда я шел в русскую столовку: не голод меня гнал туда – ностальгия. Помню две столовки: эсеровскую на улице Гласьер (ее называли так потому, что эсеры, родственники владельцев фирмы «Чай Высоцкого», жертвовали деньги на пропитание эмигрантов) и беспартийную на улице Паскаля. В обеих было дешево, грязно, невкусно и тесно. Официант кричал повару: «Эн – борщ и биточки, авэк – каша». Рыжая эсерка истерически повторяла, что, если ей не дадут боевого задания, она покончит с собой. Большевик Гриша негодовал: проходя мимо кафе «Даркур», он увидел там Мартова – вот как разлагаются оппортунисты!..

Иногда устраивались балы; сбор шел на пропаганду в России. Приглашали французских актеров; бойко торговал буфет; многие быстро напивались и нестройно пели хором: «Как дело измены, как совесть тирана, осенняя ночька черна...» Здесь же сводились счета: эмиграция была крохотным островком, на нем жили и в тесноте и в обиде.

Еще в тюрьме я понял, что ничего не знаю. Я записался вольнослушателем в Высшую школу социальных наук. Лекции мне казались бледными, малосодержательными, но я аккуратно все записывал в тетрадку. Вскоре я заметил, что из книг могу почерпнуть куда больше, чем из лекций; снова начались годы жадного чтения.

Книги я брал в Тургеневской библиотеке. Ее судьба драматична. В 1875 году в Париже состоялось «Литературно-музыкальное утро» с участием Тургенева, Глеба Успенского, Полины Виардо, поэта Курочкина. И. С. Тургенев распространял билеты, указывая: «Вырученные деньги будут употреблены на основание русской читальни для недостаточных студентов». Писатель пожертвовал библиотеке книги, некоторые со своими пометками на полях. Два поколения революционной эмиграции пользовались книгами «Тургеневки» и обогащали ее библиографическими редкостями. После революции библиотека продолжала существовать; только читатели изменились. В начале второй мировой войны русские писатели-эмигранты передали свои архивы на хранение Тургеневской библиотеке. Один из ближайших сподвижников Гитлера, балтийский немец Розенберг, который считался ценителем «россики», вывез Тургеневскую библиотеку в Германию. В 1945 году, перед самым концом войны, незнакомый офицер принес мне мое письмо, посланное в 1913 году М. О. Цетлину (поэту Амари). Офицер рассказал, что на одной немецкой станции он видел распотрошенные ящики: русские книги, рукописи, письма валялись на земле; он подобрал несколько писем Горького и, случайно заметив на истлевшем листке мою подпись, решил доставить мне удовольствие. Таков конец Тургеневской библиотеки.

Порой я заглядывал в партийную библиотеку на авеню де Гобелен – там можно было встретить знакомых. В полутемном сарае, среди паутины, газет и примятых шляп, люди подолгу спорили, не обращая внимания на Мирона, который негодовал: «Товарищи, ведь здесь библиотека!..» Иногда появлялся новичок из Петербурга или Москвы; его закидывали вопросами. Вести были невеселыми: реакция в России росла, охранка усердствовала – «провал» следовал за «провалом». Говорили много про Азефа. Конечно, я никогда не соглашался с эсерами; но меня пленяла романтика – Каляев, Созонов, и вдруг выяснилось, что какой-то толстый противный субъект решал судьбы и революционеров, и царских министров...

На партийных собраниях продолжались бесконечные дискуссии. Недавно я прочитал в воспоминаниях С. Гопнер, что Ленин говорил о бесплодности эмигрантских дискуссий, где спорят люди, давно выбравшие свою позицию. Я сердился на себя: почему в Москве

дискуссии меня увлекали, а здесь, где столько опытных партийных работников, я сижу и скучаю? Я стал реже ходить на собрания.

Попробовал я пойти на митинг французских социалистов. Выступал Жорес; он изумительно говорил, мне показалось, что я слышу нечто новое (потом я понял, что дело было в таланте оратора). Он говорил, что труд, братство, гуманизм сильнее корысти правящего класса; потрясал руками, в негодовании отстегнул крахмальный воротничок. В зале было нестерпимо жарко. После Жореса детский хор исполнил песню о страданиях чахоточного юноши, который не увидит восхода солнца. Потом потная толстая певица пела скабрёзные куплеты про корсет, который она потеряла в кабинете министра. Все развеселились. На эстраду вышли музыканты; поспешно отодвигали скамейки – начинался бал. Восемнадцатилетний русский юноша не танцевал, он грустно шагал по старым парижским улицам и думал: гуманизм, пролетариат – и вдруг корсет!..

Париж мне нравился, но я не знал, как к нему подойти. Я пошел на выставку и ужаснулся. О живописи я не имел никакого представления; в моей московской комнате на стене висели открытки «Какой простор!» и «Остров мертвых». Я думал, что картины должны быть со сложным сюжетом, а здесь художники изображали дом, дерево, того хуже – яблоки.

В театре «Французской комедии» знаменитый актер Муне-Сюлли играл царя Эдипа. Я признавал только Художественный театр: мне казалось, что на сцене все должно быть как в жизни. Муне-Сюлли стоял неподвижно на месте, потом он сделал несколько шагов, снова остановился и зарычал, как раненый лев: «О, как темна наша жизнь!...» Несколько лет спустя я понял, что он был большим актером, но в то время я не знал, что такое искусство, и не выдержал – громко рассмеялся. Сидел я на галерке среди подлинных театралов и не успел опомниться, как оказался на улице с помятыми боками.

По ночам я писал длинные письма в Москву; отвечали мне коротко: я выпал из игры, стал чужим. Несколько позднее, когда я возомнил себя поэтом, в ученических бледных стихах я признавался:

Как я грущу по русским зимам,
Каким навек недостижимым
Мне кажется и первый снег,
И санок окрыленный бег!..

Как радостна весна родная,
И в небе мутном облака,
И эта взбухшая, большая,
Оковы рвущая река!..

И столько близкого и милого
В словах Арбат, Дорогомилово...

Обращаясь к России, я говорил:

Если я когда-нибудь увижу снова
Две сосны и надпись «Вержболово»,
Мутный, ласковый весенний день,
Талый снег и горечь деревень...

Я пойму, как пред Тобой я нищ и мал,
Как себя я в эти годы растерял...

Стихи плохие, неловко их переписывать, но они довольно точно выражают душевное состояние тех лет.

Я вспомнил сейчас 1949 год, когда некоторые меня называли «космополитом». Действительно, лучшую мишень трудно было найти: помимо всего прочего, я долго прожил в Париже – и по необходимости, и по доброй воле. Тогда многие любили говорить о «беспачпортных бродягах», справка о прописке казалась чуть ли не решающей. А ведь чувство родины особенно обостряется на чужбине; да и видишь многое лучше. Гейне создал «Зимнюю сказку» в Париже; там же Тургенев писал «Отцы и дети»; над «Мертвыми душами» Гоголь работал в Риме; Тютчев писал о России в Мюнхене, Ромен Роллан о Франции – в Швейцарии, Ибсен о Норвегии – в Германии, Стриндберг о Швеции – в Париже; «Дело Артамоновых» написано в Италии; и так далее...

Помню слова, однажды оброненные: «Эренбургу пора понять, что он ест русский хлеб, а не парижские каштаны...» В Париже, когда мне приходилось трудно, я действительно покупал на улице у продыmlенного оверньяка горячие каштаны; стоили они всего два су, согревали иззябшие руки и обманчиво насыщали. Я ел каштаны и думал о России – не о ее калачах...

13

Стихи я начал писать неожиданно для самого себя: я еще ходил на политические рефераты и слушал лекции в Высшей школе социальных наук.

На собрании группы содействия РСДРП я познакомился с Лизой. Она приехала из Петербурга и училась в Сорбонне медицине. Лиза страстно любила поэзию; она мне читала стихи Бальмонта, Брюсова, Блока. Я подтрунивал над Надей Львовой, когда она говорила, что Блок – большой поэт. Лизе я не смел противоречить. Возвращаясь от нее домой, я бормотал: «Замолкает светлый ветер, наступает серый вечер...» Почему ветер светлый? Этого я не мог себе объяснить, но чувствовал, что он действительно светлый. Я начал брать в «Тургенева» стихи современных поэтов и вдруг понял, что стихами можно сказать то, чего не скажешь прозой. А мне нужно было сказать Лизе очень многое...

День и ночь напролет я писал первое стихотворение; оказалось, это очень трудно. Я знал, что по-французски у меня бедный словарь; но ведь стихи я писал по-русски, а все время чувствовал – до чего мало у меня слов! Наконец я решился показать стихи Лизе; боясь сурового приговора, я сказал, что это сочинения моего приятеля. Лиза оказалась строгим критиком: мой приятель не умеет писать, стихи подражательные, одно под Бальмонта, другое под Лермонтова, третье под Надсона; словом, моему приятелю нужно много работать...

Я порвал все написанное и решил больше к стихам не возвращаться – буду революционером, может быть, журналистом или выберу другую профессию, поэзия не для меня. Легко было решить, а вот выполнить решение я не смог. Я вдруг почувствовал, что стихи поселились во мне, их не выгонишь, и я продолжал писать. Лизе я снова показал стихи только месяца два спустя. Она сказала: «Твой приятель теперь пишет лучше...» Мы заговорили о другом, и вдруг, как бы невзначай, она сказала: «Знаешь, одно твоё стихотворение мне понравилось...» Оказалось, что маскировку она разгадала сразу.

Я жил возле зоопарка. По ночам кричали морские львы. Я до утра писал стихи, плохие, подражательные, но я был счастлив – мне казалось, что я нашел свой путь.

Лиза уехала на каникулы в Петербург. Неожиданно пришла от нее телеграмма: журнал «Северные зори» взял одно мое стихотворение. Я был вне себя от радости: значит, я действительно поэт!

Я осмелел и послал стихи в журнал «Аполлон». Вскоре пришел ответ от редактора, художественного критика С. К. Маковского. Он справедливо ругал мои стихи, но в конце письма говорил уже не о слабых виршах, а о человеке – предлагал мне выбрать другую профессию, заняться, например, коммерцией. «Аполлон» был для меня верховным судом. Месяц я ничего не писал: если Маковский советует мне стать лавочником, то это неспроста, – значит, я самозванец.

Лизе удалось меня успокоить, приободрить, и я вернулся к стихам.

Я не расставался с мыслью уехать в Россию и отдаться там нелегальной работе. Я заговорил об этом с одним из ближайших соратников Ленина, он ответил, что понимает мои чувства, но будет куда лучше, если я в Париже наберусь знаний, – партии нужны и литераторы (не знаю, читал ли он мои стишки, но, разумеется, слышал, что я увлекся стихотворством).

Наконец один товарищ предложил мне поехать в Вену – впоследствии меня, может быть, используют для переброски литературы в Россию.

В Вене я жил у видного социал-демократа Х. – я не называю его имени: боюсь, что беглые впечатления зеленого юноши могут показаться освещенными дальнейшими событиями. Моя работа была несложной: я клеивал партийную газету в картонные рулоны, а на них наматывал художественные репродукции и отсылал пакеты в Россию. Х. жил с женой в маленькой, очень скромной квартире. Однажды вечером жена Х. сказала, что чая не будет:

газ на кухоньке подавался автоматом, в который нужно было бросить монету. Я поспешно побежал и бросил в пасть чудовища крону. Х. был со мною ласков и, узнав, что я строчу стихи, по вечерам говорил о поэзии, об искусстве. Это были не мнения, с которыми можно было бы поспорить, а безапелляционные приговоры. Такие же вердикты я услышал четверть века спустя в некоторых выступлениях на Первом съезде советских писателей. Но в 1934 году мне было сорок три года, я успел кое-что повидать, кое-что понять; а в 1909 году мне было восемнадцать лет, я не умел ни разобраться в исторических событиях, ни устроиться поудобней на скамье подсудимых, хотя именно на ней мне пришлось просидеть почти всю жизнь. Для Х. обожаемые мною поэты были «декадентами», «порождением политической реакции». Он говорил об искусстве как о чем-то второстепенном, подсобном.

Однажды я понял, что я должен уехать, не решился сказать об этом Х. – написал глупую детскую записку и уехал в Париж.

Я сидел на скамье бульвара с Лизой, рассказывал о поездке в Вену, о том, что не знаю, как прожить следующий день, – у меня больше не было цели.

Лиза говорила о другом. Это была очень печальная встреча. Лиза подарила мне книгу, на первой странице она написала, что нужно опоясать сердце железными обручами, как бочку. Я подумал: где мне взять эти обручи? Дома я раскрыл книгу: стихи Брюсова.

Мне сладки все мечты, мне дороги все речи.
И всем богам я посвящаю стих.

Все во мне сопротивлялось этим словам: я еще помнил собрание на Татарском кладбище, тюремные ночи, признания, клятвы. Мечта мечте рознь. Да и какой может быть у человека бог, если богов много? Главное – как жить, когда больше ни во что не веришь?..

Я писал о своем отчаянии, о том, что прежде у меня была жизнь и что теперь ее нет, о трубачах без труб, о чуждости и жестокости Парижа, о любви. Это была дурная лирика. (У нас теперь слово «лирика», как и многие другие, приобрело новое значение: редакторы, критики, заведующие отделами поэзии, словом, не стихотворцы, а стиховеды и стихоеды, называют «лирикой» любовные стихи, как будто «Когда для смертного угаснет шумный день...» или «Молчи, скрывайся и таи...» – не лирические произведения).

Один читатель прислал мне мои ранние стихи, напечатанные в разных журналах. Эти стихи (на редкость беспомощные) помогли мне вспомнить терзания далеких дней. Я «бунтовал»:

Я ушел от ваших громких, дерзких песен,
От мятежно к небу поднятых знамен,
Оттого, что лагерь был мне слишком тесен...

То я высмеивал свои стихи:

Довольно! Я знаю и гордые позы,
И эти картонные латы.
На землю! На землю! Сражаться с врагами!
Я снова запыленный воин.
Меня вы примите под красное знамя!
Я ваших доспехов достоин...

Я чувствовал, что сбился с пути, и в весну своей жизни твердил об осени:

Печальны и убоги,
Убогие в пыли.
Осенние дороги,
Куда вы привели?

Меня лихорадило и в личной жизни. В конце 1909 года на одном из эмигрантских вечеров я познакомился с Катей, студенткой медицинского факультета первого курса. Влюбился я сразу, начались долгие месяцы психологических анализов, признаний, вспышек ревности.

Летом 1910 года мы поехали с Катей в Брюгге. Меня поразили этот город – он действительно был мертвым. Стояли огромные церкви, ратуша, башни, особняки, а жили в городе монашенки и обнищавшие мечтатели. Теперь Брюгге изменился: он живет ордами туристов и похож на переполненный до отказа музей. А когда я его увидел впервые, ничто не тревожило ни сонных лебедей, ни отражения тополей в каналах, ни монашенок (теперь и монашенки побойчели – зазывают туристов, продают кружева своей работы). Впервые я смотрел на живопись, не довольствуясь сюжетом картины: меня поразили мадонны Мемлинга бледными лицами, бескровными губами, ощущением чистоты, отрешенности. Я чувствовал, что мир художника был замкнутым, углубленным, полным человеческих тайн. Я еще не знал ни старой поэзии, ни архитектуры Шартра; но далекое прошлое показалось мне восхитительным; в Брюгге я написал полсотни стихотворений о красоте исчезнувшего мира, о рыцарях и Прекрасных Дамах, о Марии Стюарт, об Изабелле Оранской, о мадоннах Мемлинга, о брюггских монахинях-бегинках. Русский юноша девятнадцати лет, жадно мечтавший о будущем, оторванный от всего, что было его жизнью, решил, что поэзия – костюмированный бал:

В одежде гордого сеньора
На сцену выхода я ждал.
Но по ошибке режиссера
На пять столетий опоздал.

Мне действительно тогда казалось, что я создан, скорее, для крестовых походов, нежели для Высшей школы социальных наук. Стихи получались изысканные; мне теперь неловко их перечитывать, но писал я их искренне.

Один из приятелей, которому мои стихи понравились, сказал: «В России их вряд ли напечатают – там в каждой редакции свои поэты, но почему тебе не издать книжку в Париже? Это стоит недорого...» Я пошел в русскую типографию на улице Фран-Буржуа. К моему удивлению, хозяин типографии не заинтересовался содержанием книги; хотя он был бундовцем, мои стихи, обращенные к папе Иннокентию VI, его не смутили; он сосчитал строки и сказал, что двести экземпляров обойдутся в полтора фranken. Я поспешно возразил: зачем двести? Я – начинающий автор, с меня хватит и сотни. Типограф объяснил, что самое дорогое – набор, но согласился скинуть двадцать пять фranken.

Я получал от родителей пятьдесят рублей в месяц – сто тридцать три франка. На беду, проект издания сборника стихов совпал с некоторыми событиями в моей жизни. Мне пришлось окончательно отказаться от обедов и сократить число поглощаемых у стойки роголиков – к Кате я приходил почти всегда с букетиком. Я все же откладывал франки на типографию. Сборник «Стихи» вышел в конце 1910 года. Пятьдесят экземпляров я сдал на комиссию в русский магазин; другие постепенно отправлял различным поэтам в Россию: марки стоили дорого. Вообще расходы были значительными, а приход ничтожным – продано было всего шестнадцать экземпляров.

Двадцать пятого марта 1911 года в Ницце у меня родилась дочь Ирина.

Летом 1911 года я получил первый гонорар – шесть рублей за напечатанные в петербургском журнале два стихотворения. Это было неслыханной удачей, и мы с Катей чудесно пообедали.

Я ждал, что скажут о моей книге поэты в России. Мать очень за меня волновалась: я не учился, не выбрал себе никакой серьезной профессии и вдруг начал писать стихи. Да и стихи странные: почему ее сын пишет о богومатери, о крестовых походах, о древних соборах? Но ей, разумеется, хотелось, чтобы кто-нибудь меня похвалил. Прочитав в «Русских ведомостях» статью Брюсова, она телеграммой сообщила мне об этом. Разбирая книги начинающих поэтов, Брюсов выделил «Вечерний альбом» Марины Цветаевой и мой сборник: «Обещает выработаться в хорошего поэта И. Эренбург». Я обрадовался и в то же время огорчился – стихи, вошедшие в сборник, мне перестали нравиться.

Вскоре я уже не мог без презрительной усмешки вспоминать первую книгу. Я попытался стать холодным, рассудительным – подражал Брюсову. Но от таких стихов мне самому было скучно, и я начал мечтать о лиричности, обратился к своему недавнему прошлому.

Мне никто не скажет за уроком «слушай»,
Мне никто не скажет за обедом «скушай»,
И никто не назовет меня Илюшей,
И никто не сможет приласкать,
Как ласкала маленького мать.

Или:

Как скучно в одиночке, вечер длинный,
А книги нет.
Но я – мужчина,
И мне семнадцать лет.

Книга называлась «Одуванчики». Едва она успела дойти до моих московских друзей, как я понял, что не вылечился от стилизации, только вместо картонных лат взял напрокат в костюмерной гимназическую форму.

Впервые я напал на томик Верлена; его певческий дар, его печальная и нелепая судьба меня взволновали. В кафе на бульваре Сен-Мишель официант с благоговением показал мне продавленный диван: «Здесь всегда сидел господин Верлен...» Я писал о «бедном Лелиане» (так называли Верлена в старости):

За своим абсентом, молча, темной ночью
Он досиживал до утренней звезды,
И торчали в беспорядке ключья
Перепутанной и грязной бороды...

Снова получались чужие стихи: я сам не слышал в них своего голоса.

Я прочитал книгу поэта Франсиса Жамма; он писал о деревенской жизни, о деревьях, о маленьких пиренейских осликах, о теплоте человеческого тела. Его католицизм был свободен и от аскетизма и от ханжества: он хотел, например, войти в рай вместе с ослами. Я перевел его стихи и начал ему подражать: пантеизм показался мне выходом. Я вырос в городе, но с отроческих лет всегда томился в лабиринте улиц, чувствовал себя свободным только с глазу на глаз с природой. На короткий срок меня прельстила философия Жамма – он оправдывал и голубя и коршуна. (Я говорю сейчас о птицах, а не о классах общества). Меня давно мучила

мысль: откуда приходит зло? Дуализм мне представлялся отвратительным; я по-прежнему ненавидел буржуазию, но и уже знал, что не все вопросы будут разрешены обобществлением средств производства. Я ухватился за бога деревьев и ослов. Франсис Жамм разрешил мне приехать к нему; жил он в Ортезе, около испанской границы. У него была уютная борода и ласковый голос; принял он меня по-отечески, попросил почитать стихи по-русски, угостил домашней наливкой и посоветовал в Париже встретиться с начинающим талантливым писателем – его зовут Франсуа Мориак, Я ждал наставлений, а Жамм показал себя снисходительным, радушным. Он мне понравился, но я понял, что он не Франциск Ассизский и не отец Зосима, а только поэт и добрый человек; уехал я от него с пустым сердцем.

Я посвятил Жамму сборничек стихов «Детское»; вспоминал день, проведенный в Ортезе:

Зимнее солнце сквозь окна светит,
На полу играют ваши дети.
У камина старая собака, греясь, спит и громко дышит.
В камине трещат еловые шишки.
Вы говорите, а я слушаю и думаю —
Откуда в вас столько покоя,
Думаю о том, что меня ждет дорога угрюмая,
Вокзал и пропахший дымом поезд...

Так вспоминают не об учителе жизни, а о милом дядюшке в деревне...

Вскоре мне опротивело играть в ребячество. Я начал подражать Гийому Аполлинеру. (Конечно, когда я кому-либо подражал, и этого не видел, мне неизменно казалось, что в прошлом году я действительно подражал такому-то, а вот теперь нашел свой голос).

Иногда мои стихи печатали «Новый журнал для всех», «Русское богатство», «Жизнь для всех», «Русская мысль». Я получил короткое, но сердечное письмо от В. Г. Короленко. Весь мой архив пропал. Я нашел в книге писем Короленко письма к А. Г. Горнфельду; Владимир Галактионович писал весной 1913 года о двух моих стихотворениях: «По-моему, очень хороши и ко времени первые строчки:

Значит, снова мечты о России
Лишь напрасно приснившийся сои.
Значит, снова – дороги чужие...
И по ним я идти обречен».

В Париже открылась типография Рираховского, еврея с роскошной черной бородой. Типография помещалась на бульваре Сен-Жак в маленькой лавчонке. У наборных касс стояли Рираховский и двое наборщиков; один был большевиком, другой – меньшевиком; они набирали афиши эмигрантских рефератов и спорили, кто может с большим правом называться социал-демократом после раскола партии. Рираховский был человеком с юмором и нежадным. Кто мог бы мне отпустить что-либо в кредит? Я холил в рваных ботинках, брюки внизу заканчивались бахромой; был я бледен, худ и глаза частенько блестели от голода. У Рираховского было доброе сердце, он печатал мои стихи и терпеливо ждал, когда я принесу ему двадцать или тридцать франков. Он говорил, что стихи у меня плохие, куда хуже, чем в «чтеце-декламаторе», но даже плохие стихи выглядят лучше на бумаге верже. Я с ним соглашался и чуть ли не каждый год издавал очередной сборничек на бумаге верже в ста экземплярах. Книга «Будни» продавалась в Москве, в книжном магазине Вольфа, и, насколько я помню, разошлось около сорока экземпляров.

Я менее всего склонен теперь попытаться оправдать или приукрасить мое прошлое. Но вот сущая правда: я не мечтал о славе. Конечно, мне хотелось, чтобы мои стихи похвалил один из тех поэтов, которые мне нравились; но еще важнее было прочесть кому-нибудь только что написанное. В Париже существовал эмигрантский литературный кружок; людей, ставших знаменитыми, в нем не было; помню поэтов М. Герасимова (потом он был в группе «Кузница»), Оскара Лещинского (он сыграл крупную роль в годы гражданской войны и героически погиб в Дагестане; в Париже он был эстетом, выпустил книгу «Серебряный пепел», в ней были стихи «Нас принимают все за португальцев, мы говорим на русском языке, я видел раз пять тонких-тонких пальцев у проститутки в этом кабаке»); среди прозаиков были А. И. Окулов, человек очень одаренный, смелый и непутевый, много в те годы пивший (он тоже стал известен во время гражданской войны, сражался, в Сибири был членом Реввоенсовета, писал рассказы, а погиб позднее, как и М. Герасимов, – в тридцать седьмом), П. Ширяев, М. Шимкевич. Иногда на собрания кружка приходил А. В. Луначарский. Иногда навещали нас скульпторы Архипенко, Цадкин, художники Штеренберг, Лебедев, Федер, Ларионов, Гончарова. (Давид Петрович Штеренберг был политическим эмигрантом. Одно время я снимал комнату в предместье Парижа – в Медоне; рядом жил Штеренберг. Он бедствовал, но каждый день я видел его с мольбертом и с ящиком – он шел писать пейзажи. Этот очень скромный и тихий человек в самое громкое время был облечен большой ответственностью: Луначарский поручил ему организовать отдел изобразительного искусства. Давид Петрович никого не угнетал, не обижал. Маяковский на книге, ему подаренной, надписал: «Дорогому товарищу без кавычек Давиду Петровичу Штеренбергу. Маяковский нежно». За Штеренбергом был один грех: он был хорошим художником и любил живопись; в тридцатые годы его причислили к «формалистам». Помню статью одного критика, который возмущался тем, что Штеренберг для натюрморта выбрал селедку; критик узрел в этом желание очернить современность... Давид Петрович умер в 1948 году, а в 1960-м была устроена небольшая выставка его работ – все увидели, каким он был чистым, лиричным и тонким живописцем. А в моей памяти он остался застенчивым бедным юношей в Медоне: мечты о революции, голод, живопись...)

Я уже начинал приобщаться к искусству, разговаривал не только о «свободном стихе», но и о холстах «диких» (так называли Матисса, Марке, Руо) или о монументальной скульптуре Майоля.

Несколько раз я был у К. Д. Бальмонта; о нем расскажу впоследствии; расскажу также о писателях, подолгу живших в Париже, – о А. Н. Толстом, М. А. Волошине. Теперь упомяну только о приезде в Париж Ф. К. Сологуба. Был объявлен литературный вечер. Сологуб долго рассказывал собравшимся, главным образом студентам, что Дульцинея отлична от Альдонсы. Он походил, скорее, на директора гимназии, нежели на поэта. Иногда в его глазах мелькала невеселая улыбка. Я понимал, что передо мной автор «Мелкого беса». Но откуда он брал музыку, простые, резавшие сердце слова, песни, роднившие его с Верленом? Стихи он читал своеобразно – как будто раскладывал слова по отделениям большого ящика:

Конь офицера
Вражеских сил
Прямо на сердце,
Прямо на сердце ступил...

В последний раз я его видел в московском Доме печати в 1920 году. Некоторые из выступавших говорили, что индивидуализм отжил свой век. Федор Кузьмич кивал головой – явно соглашался. В заключительном слове он только добавил, что коллектив должен состоять из единиц, а не из нулей, ибо если прибавить к нулю нуль, то получится не коллектив,

а нуль. Сологуб в Париже меня любезно принял, выслушал мои стихи, говорил о музыке, о тайне и снова о Дульцинее. А я тогда писал не о Дульцинее, но о мусорщиках, о грязи и смраде парижских улиц. После этого я написал стихи:

...Я читаю, и светает, в четком свете
Странно видеть рядом на стене
Уж живого Сологуба (на портрете) —
Средних лет, с бородкой и в пенсне...

Вместе с Оскаром Лещинским я издавал художественно-литературный журнал «Гелиос». Мы быстро погорели. Позднее появился поэт Валя Немиров; он приехал из Ростова, у него были деньги. Он обожал спокойствие, был очень близоруким, говорил, что ему нравится одно местечко в Швейцарии (не помню какое), где всегда можно зажечь на улице сигарету, не прикрывая ладонью спички. Мы выпустили два номера журнала «Вечера», посвященного поэзии; там я мог печатать стихи, прославлявшие надвигающуюся бурю.

Из дому я получал теперь деньги нерегулярно; жил беспорядочно и на редкость скверно. Эмилио Серени говорил мне, что его покойная жена, по происхождению русская, рассказывала: «Эренбург спал в молодости, покрывшись газетами». В маленькой мастерской, которую я снимал на улице Кампань-Премьер, стоял матрас на ножках, другой мебели у меня не было. Не было и печки. Один шведский художник как-то выбил оконные стекла: рвался к небу. Поверх тонкого одеяла и худого пальто я клал газеты. Утром я забирался в кафе и там просиживал до вечера, читал, писал — кафе отапливали. Когда я проходил мимо ресторанов, меня мучило от запаха готовящейся пищи: порой по три-четыре дня я ничего не ел. Когда приходил чек из Москвы, я быстро проедал деньги с приятелями, которые тоже жили впроголодь.

Помню удивительную ночь незадолго до войны. Заказные письма из России приносили под вечер; деньги присылали чеком на «Лионский кредит». Я перевел для какого-то журнала рассказ Анри де Ренье; мне прислали десять рублей. Банк был уже закрыт. Нестерпимо хотелось есть. Мы пошли в маленький ресторан «Свидание извозчиков», напротив вокзала Монпарнас: он был открыт круглые сутки. Я позвал двух приятелей. Названия блюд были написаны мелом на черной доске, и мы успели все испробовать — ведь нужно было досидеть до утра, когда я мог получить деньги в банке (приятели должны были остаться в ресторане как заложники). Мы давно уже поужинали, подремали, позавтракали, пообедали; в шесть часов утра мы начали вторично завтракать, считая, что наступил новый день. Это была чудесная ночь!

Я много переводил, но переводил стихи, а их чрезвычайно редко печатали. Переводил я и современных французских поэтов, и фаблио XIII века, баллады Франсуа Вийона, сонеты Ронсара, проклятия Д'Обинье; научился читать по-испански, перевел отрывки из «романсеро», произведения протоиерея из Ита, Хорхе Манрике, святого Хуана, Кеведо. Это было страстью, но не профессией.

Я стал гидом. Графиня Панина (а может быть, как утверждает один читатель, графиня Бобринская) организовала экскурсии народных учителей за границу; стоили поездки недорого и давали возможность учителям, работавшим, как тогда говорили, «в медвежьих углах», повидать Италию или Францию. В летние месяцы я подрабатывал: показывал учителям Версаль. Нужно было в точности знать имена сотни скульпторов или художников, авторов больших батальных полотен вспомнить мифологию, объяснять аллегорическое значение различных фонтанов. В общем, это было нетрудно. Куда труднее было присматривать за ватагой людей, впервые оказавшихся за границей. Некоторые женщины старались убежать в модные

лавки – хотя бы посмотреть на наряды. Среди мужчин попадались и такие, которые мечтали о ночных притонах, покупали непристойные открытки. Я считал туристов при спуске – в метро, считал при выходе из метро, часто одного или двоих не хватало. Учитель из Кобеляк попросил меня запереть его на ночь в гостинице: он познакомился с какой-то француженкой, если он еще раз ее увидит, то не вернется домой, а у него жена, дети, служба. Я его запер.

Работал я также с индивидуальными туристами; это было противно: почти все требовали, чтобы я по ночам водил их в притоны. Когда я отказывался, меня ругали дураком, ханжой, даже сыщиком, недодавали отработанного. Помню одного коммерсанта: у него был в Риге магазин санитарных принадлежностей. Когда мы с ним договаривались, он подозрительно спрашивал, знаю ли я все стили; вынул карточку какой-то дамы с высокой прической, щелкнул ее: «Недурна?» Оказалось, дама – его невеста, у нее в Риге доходный дом, и она обожает искусство, знает все стили, высмеивает невежественного жениха. Я получал в день пять франков. Но владелец санитарного магазина меня извел; возле обыкновенного дома конца прошлого века он спрашивал: «Какой это стиль?» Вначале я честно отвечал: «Никакой». Но он сердился, говорил, что в Вене платил гиду меньше, чем мне, и тот знал все стили. Я испугался, что лишусь пяти франков, и начал фантазировать: «Барокко... ампир... чистая готика...» Он все записывал в книжечку. В ресторане я должен был переводить ему меню, он долго размышлял, что вкуснее, заказывал, потом выбирал для меня самое дешевое: картошку или макароны.

Годы и годы я ходил по улицам Парижа, оборванный, голодный, с южной окраины на северную; шел и шевелил губами – сочинял стихи. Мне казалось, что я стал поэтом случайно: встретился с молоденькой девушкой Лизой, ставшей потом поэтессой, «серапионовой сестрой» – Е. Г. Полонской. Начало выглядит именно так; но оказалось, что никакой случайности не было, – стихи стали моей жизнью.

В 1916 году в Москве вышла моя книга «Стихи о канунах»; книга изуродована цензурой – почти на каждой странице вместо строк точки. Это первая книга, в которой я говорил своим собственным голосом. Я писал о войне:

Над подушкой картинку повесили,
Повесили лихого солдата,
Повесили, чтобы мальчику было весело.
Чтоб рано утром мальчик не плакал,
Когда вода в умывальнике капает.
Казак улыбается лихо,
На казаке папаха.
Казак наскочил своей пикой
На другого, чужого солдата.
И красная краска капает на пол...

Писал о казни Пугачева:

Прорастут, прорастут твои рваные рученьки,
И покроется земля злаками горючими...

Писал о себе и о 1916 годе, который называл «буйным кануном».

Брюсов говорил об этой книге в «Русских ведомостях»: «...Видно, что для И. Эренбурга стихи – не забава и, конечно, не ремесло, но дело жизни... Нет поэтому у И. Эренбурга гладких стишков на темы, издавна признанные “поэтическими”, нет перепевов общепризнанных образцов поэзии и нет той ложной красоты и того дешевого мастерства, которые

так легко приобретаются в наши дни широко разработанной техники стихотворства (вернее сказать, все это встречалось в первых книгах И. Эренбурга, но постепенно он сумел преодолеть соблазн поверхностного успеха)... Основной грех всего творчества И. Эренбурга составляет его подчиненность теориям. Редко он отдается искусству непосредственно; чаще насилует вдохновение ради своего понимания поэзии. Сознательно избегая трафаретной красоты, И. Эренбург впадает в противоположную крайность, и его стихи незвучны, не напевны, а предпочтение поэта к отдаленнейшим ассонансам, вместо рифмы, лишает их последней прикрасы... Всего более привлекают внимание И. Эренбурга гнойники верхов современной культуры. Выследить все позорное и низменное, что таится под блеском современной европейской утонченности, – вот задача, которую (сознательно или бессознательно) ставит себе молодой поэт. И он с решимостью хирурга, вскрывающего злокачественный нарыв, обнажает в своих – не поющих – стихах и тайные порывы собственной души, в которых не каждый решится сознаться, и все то низменное и постыдное, что скрыто под мишурой нашей благовоспитанности и культуры».

Мне передали копию черновика письма Брюсова ко мне, написанного тогда же. Валерий Яковлевич, сообщая, что отправил в газету рецензию, добавляет: «...Я искренне люблю Вас, то есть как поэта, ибо как человека не знаю. Это, однако, не значит, что я люблю Ваши стихи. Напротив. Говорю это откровенно по тому самому, что люблю в Вас поэта... Мой вывод – тот, который применим ко всем “избранным”, то есть людям, предназначенным к поэзии: “Работайте!” Без работы не бывает Пушкиных, Гете, даже Верленов (ибо первую половину жизни будущий *rauvre Lelian* работал много, очень много), а ведь ниже Верлена Вы быть не захотите, да и не стоит. Не соблазнят же Вас лавры какого-нибудь *prince de poetes*, вроде Поля Фора!.. И личная просьба: не пренебрегайте музыкой стиха. Вы на футуристов не смотрите. Вся сущность поэзии – в сочетании звуков...» Письмо кончалось дружескими словами: «А потому обнимаю Вас через тысячи верст...»

Я ответил Брюсову (это было летом 1916 года): «Ваше ласковое письмо меня очень тронуло. Спасибо! Я вообще не избалован откликами на мои стихи. Ваши же слова были мне особенно ценны. Я внимательно прочел статью Вашу и письмо. Много хотел бы сказать в ответ, но я не умею писать письма... Я не подчиняю свою поэзию никаким “теориям”, наоборот, я чересчур несдержан. Дефекты и свинства моих стихов – мои. То, что Вам кажется отвратительным, отталкивающим, – я чувствую как свое, подлинное, а значит, не красивое, не безобразное, а просто должное. Пишу я без рифм и “размеров” не “по пониманию поэзии”, а лишь потому, что богатые рифмы или классический стих угнетают мой слух... Я не склонен к поэзии настроений и оттенков, меня более влечет общее, “монументальное”, мне всегда хочется вскрыть вещь, показать... что в ней главного. Вот почему в современном искусстве я больше всего люблю кубизм. Вы говорите мне “о сладких звуках и молитвах”. Но ведь не все сладкие звуки – молитвы, вернее, все молитвы – богам, но не все – богу... Это, может быть, очень узко, но не потому, что у меня узкое понимание поэзии, а потому, что я – человек узкий. Вот все самое главное, что мне хотелось сказать Вам. Между нами стена – не только тысячи верст!.. Называя сборник “Канунами”, кроме общего значения, я имел в виду свое частное. Это лишь мои кануны...»

Брюсов был прав, говоря, что мне хотелось показать язвы общества. Пять лет спустя я написал сатирический роман «Хулио Хуренито». Но со стихами я не мог, да и не могу расстаться. Правда, бывали долгие перерывы, когда я не писал стихов (с 1924 года по 1937-й), но всегда я повторял стихи любимых поэтов как заклинания, без поэзии не прожил дня. Я говорил в «Книге для взрослых»: «Иногда я все же завидую поэтам. Мы едва вытаскиваем ноги из трясины. Их походка похожа на прыжки, показанные замедленной проекцией, – они плывут в воздухе. Я заметил, что, читая стихи, они судорожно выбрасывают руки: это жесты пловца. Их тротуары не ниже второго этажа. Для нас запятые – мясо, страсть, глубина; они

обходятся даже без точек. Ритм стихов переходит в ритм времени, и поэтам куда легче понять язык будущей». Эти размышления относятся к весне 1936 года. Вскоре началась испанская война. Я писал статьи, листовки, заметки, написал даже повесть, но неожиданно, как некогда, начал шевелить губами и сочинять стихи – не потому, что хотел увидеть будущее, а потому, что нужно было сказать о настоящем.

Многие из моих прошлых мыслей мне теперь представляются неправильными, глупыми, смешными. А вот то, почему я начал писать стихи, мне кажется правильным и теперь. Восемнадцатилетний юноша понял, что стихами можно сказать то, чего не скажешь прозой. Эту мысль разделяет старый литератор, который теперь пишет книгу воспоминаний.

14

Один критик писал, что в моем романе «Падение Парижа» много действующих лиц, но нет героя; по-моему, герой романа – Париж. Эту книгу я написал в пятьдесят лет; я больше не был ни хулителем, ни проповедником; та узость, о которой я писал В. Я. Брюсову, с годами сгладилась – оценки пятидесятилетнего человека напоминают разношенную обувь.

А в годы, когда я складывался, мне было трудно рассуждать о Париже; я его и страстно любил, и не менее страстно ненавидел:

Тебя, Париж, я жду ночами,
Как сутенер приходишь ты...

Я перестал ходить на лекции: школой оказался Париж, школой хорошей, но суровой; я его часто проклинал – не потому, что моя жизнь была трудной, а потому, что Париж заставлял меня понять всю трудность жизни.

Казалось бы, после тихой дореволюционной Москвы, ее деревянных домишек, извозчиков, самоваров, купеческого пудового сна, Париж должен был поразить меня своей современностью, дерзостью, новшествами. Да, конечно, тут было много автомобилей, они с трудом пробирались по узким средневековым улицам. Газеты часто называли Париж «городом-светочем». Большие Бульвары действительно были освещены куда ярче, чем Тверская или Кузнецкий Мост; но в домах еще редко можно было увидеть электрическое освещение, пожалуй, реже, чем в Москве. Лачуги «зоны» – полосы возле бывших укреплений города – казались мне неправдоподобными. Часто я приходил ночью на улицу Муфтар, по ней сновали огромные жирные крысы. Эйфелева башня еще порождала споры – еще жили современники и единомышленники Мопассана, считавшие, что она изуродовала город. Молодым художникам она нравилась. Сама башня была в возрасте девушки на выданье; никто не мог предположить, что она окажется полезной для радио и телевидения. Телефонов было мало, зато процветала пневматическая почта. Никогда раньше я не видел столько старых домов, пепельных, морщинистых, пятнистых! Я еще не знал, что стоит дому продержаться в Париже тридцать-сорок лет, как он приобретает внешность памятника старины: все дома казались мне древними, а древность открывалась передо мной, подобная новому, неизвестному миру.

Я входил в темную улицу, как в джунгли. В Москве, глядя на кремлевские соборы, я никогда не задумывался над их красотой: они были вне моей жизни, никак не соответствовали ни «явкам», ни крыльям горьковского буревестника. В гимназии я нехотя зубрил имена удельных князей, считал, что это абстракция, как теоремы или как урок латыни: «много есть имен на is – masculini generis». А в Париже прошлое казалось настоящим; даже названия улиц были загадочными – «улица Королевы Бланш», «улица Кота-рыболова», «улица Дыбы»; Катя жила на «улице Деревянного меча». Я часто заходил в дом, где скрывался некогда Марат. Среди автомобилей пробиралось стадо коз, и пастух здесь же доил упрямую козу.

Я бродил по набережным Сены, рылся в ящиках со старыми книгами. Букинисты казались еще более древними, чем томики в кожаных или пергаментных переплетах. Там я иногда встречал пожилого человека, похожего на букиниста; он брал в руки книгу, как садовод грушу, – страстно и в то же время деловито; это был Анатоль Франс. (Я никогда его не встречал впоследствии; был на похоронах в 1924 году, когда за гробом старого эпикурейца и коммуниста шли сенаторы и рабочие, академики и подростки. В 1946 году внук Анатоля Франса водил меня по дому писателя в Ля-Башелльер возле Тура – я увидел, что эпикуреец был не книжником, не эстетом, а живым человеком: дом был загроможден не коллекциями, а теми

обломками, которые оставляют после себя годы жизни, путешествия, страсти, встречи. На полке, наверно, стояли и те книги, которые Анатолий Франс при мне покупал на набережной Сены).

Как-то среди старых псалтырей и пасторалей я попал на «Эду» Баратынского. На титульном листе было написано «Просперу Мериме, переводчику нашего великого Пушкина, Евгений Баратынский». Я заплатил за книгу шесть су и тут же начал ее читать. Сена уныло шевелила своей чешуей; на барже спал раскормленный кот. Напротив была мертвецкая, под утро туда приезжали закутившие парижане – разглядывали трупы самоубийц. Собор Нотр-Дам в сизо-лиловом тумане казался каменной рощей. Баратынский писал:

Пришлец исполнен смутной думы:
Не мира ль давнего лежат
Пред ним развалины угрюмы?

Развалины, кстати сказать, иногда весьма долговечны: афинский Акрополь пережил не только духовно, но и материально жилища различных людей, которые в течение двадцати пяти веков его старательно разрушали.

В Париже прошлое сливается с настоящим. Это удивительный город – он не строился по плану, а рос, как лес. Стена аварийного дома, где ютятся горемыки, испачканная непристойными надписями, любовными признаниями, предвыборной руганью, имеет все нрава претендовать на благоговение прохожих, на покровительство государства.

Мне трудно было понять, где вчерашний день и где завтрашний: у Парижа свой календарь. Говоря о социальной революции, Жорес ссылаясь на античные мифы, он вопил и жестикулировал, как Муне-Сюлли в роли Эдипа. В церквах я часто видел студентов-медиков, физиков, – они смачивали лоб святой водой и, когда раздавался звонок, дружно становились на колени. Поэт Шарль Пеги писал о Жанне д'Арк и считался католиком. Мне нравились его стихи: он повторял сто раз одно и то же и каждый раз отступал от прежнего, его ритм напоминал бег охотничьей собаки, которая идет туда же, что и ее хозяин, но все время петляет. Мне привелось однажды с ним беседовать в редакции «Кайе де ля кэнзэн». Я думал, что он будет говорить о религии, о Бергсоне, о мессианстве, но он заговорил о России: «Я немного знаю ваших писателей. Может быть, русские первые низвергнут власть денег...»

Я прочитал стихи Франсуа Вийона; он жил в XV веке, был вором и разбойником:

От жажды умираю над ручьем.
Смеюсь сквозь слезы и тужусь играя.
Куда бы ни пошел, везде мой дом,
Чужбина мне – страна моя родная.
Я знаю все, я ничего не знаю.

Перед этим я переводил стихи Малларме, который считался одним из зачинателей новой поэзии. Я понял, что Франсуа Вийон мне куда ближе, чем автор «Послеобеденного отдыха фавна». Я читал и перечитывал «Красное и черное»; трудно было представить себе, что этому роману уже восемьдесят лет. Кругом меня говорили, что писатель, раскрывающий современность, – это Андре Жид; я раздобыл его роман «Узкая дверь». Мне показалось, что эта книга написана в XVIII веке, и я усмехнулся, думая, что автор ее жив, – я его видел в театре «Вье коломбье».

Все казалось непредвиденным, и все было возможным. Я шел по площади Клиши и сочинял стихи, когда площадь вдруг заполнилась толпой. Люди кричали, они хотели прорвать цепи полицейских и пройти к испанскому посольству: протестовали против казни

анархиста Ферреро. Раздался выстрел, сразу выросли баррикады; опрокинули omnibusы, повалили фонари. Бушевали фонтаны горящего газа. Я нетвердо знал, кем был Ферреро и почему его казнили; но я кричал вместе со всеми. Казалось, это революция. Несколько часов спустя на площади Клиши люди преспокойно пили кофе или пиво.

Париж тогда называли «столицей мира», и правда, в нем жили представители сотни различных стран. Индийцы в тюрбанах обличали лицемерие английских либералов. Македонцы устраивали шумливые митинги. Китайские студенты праздновали объявление республики. Выходили газеты польские и португальские, финские и арабские, еврейские и чешские. Парижане аплодировали «Священной весне» Стравинского, итальянскому футуристу Маринетти, Иде Рубинштейн, которая поставила мистерию Д'Аннунцио. «Столица мира» была в то же время глубокой провинцией. Париж распадался на кварталы; в каждом из них была своя главная улица с магазинами, с маленькими театрами, с танцульками. Все знали друг друга, судачили на улицах, рассказывали сплетни о булочнице, о любовнице механика Жака, о том, что жена рыжего Жана наставила ему рога.

Можно было ходить в любом наряде, делать все что угодно. Ежегодно весной устраивался бал учеников Художественной академии: по улицам шествовали голые студенты и натурщицы; на самых стыдливых были трусики. Однажды испанский художник возле кафе «Ротонда» разделся догола; полицейский лениво его спросил: «Тебе, старина, не холодно?..» Дважды в год – на масленой и посередине великого поста – устраивали карнавал; проезжали колесницы с ряжеными; люди гуляли в нелепых масках и кидали в лицо встречным конфетти; проводили также белых волов, получивших призы, в ресторанах висели плакаты: «Завтра наши достоуважаемые посетители смогут получить бифштексы из мяса лауреата». На всех скамейках, под каштанами или под платанами, влюбленные сосредоточенно целовались; никто им не мешал. А. И. Окулов однажды, после дюжины рюмок коньяку, взобрался на карету и стал объяснять прохожим, что скоро всех министров повесят на фонарях; некоторые слушали, но, конечно, никто не поверил. Я жил не только без паспорта, но и без удостоверения личности. Когда в банке у меня попросили документ, я пошел в префектуру, мне сказали, чтобы я привел в качестве свидетелей двух французов. Я торопился получить деньги и умолил пойти со мной владельца булочной, где я покупал хлеб, и полужнакомого художника, который сидел с утра в кафе и пил ром. Разумеется, они ничего про меня не знали, но согласились расписаться. Чиновник выдал мне удостоверение, в котором торжественно подтверждалось, что такой-то заявил такое-то; этого было достаточно не только для служащего банка, но и для полицейских, иногда устраивавших облавы на бандитов. В кабаре пели куплеты: президент Республики – рогоносец, министр юстиции нечист на руку, министр народного просвещения бежит за девчонками и пишет им цидулки с грамматическими ошибками. Гюстав Эрве в газете «Социальная война» призывал к истреблению буржуазии; певец Монтегюс прославлял солдат 17-го полка, которые отказались стрелять в демонстрантов. В пять часов утра в маленькие лавчонки привозили тюки газет; газеты складывали; они лежали на улице; прохожие клали медяки на тарелочку. Газет было не менее двадцати – всех направлений. Журналисты обливали друг друга помоями; потом они встречались в одном из кафе на улице Круассан и вместе попивали аперитивы.

В кафе ходили для того, чтобы встретить знакомых, поговорить о политике, посудачить, посплетничать. У людей различных профессий были свои кафе: у адвокатов, у скототорговцев, у художников, у жокеев, у актеров, у ювелиров, у стряпчих, у сенаторов, у сутенеров, у писателей, у скорняков. В кафе, куда приходили сторонники Жореса, не заглядывали сторонники Геда. Были кафе, где собирались шахматисты, там разыгрывались исторические партии между Ласкером и Капабланкой.

Я ходил в кафе «Клозери де лиля» – по-русски это означает «Сиреневый хутор»; никакой сирени там не было; зато можно было, заказав стакан кофе, попросить бумаги и писать

пять-шесть часов (бумага отпускалась бесплатно). По вторникам в «Клозери де лиля» приходили французские писатели, главным образом поэты; спорили о пользе или вреде «научной поэзии», изобретенной Рене Гилем, восхищались фантазией Сен-Поль Ру, ругали издателя «Меркюр де Франс». Однажды были устроены выборы: на трон «принца поэзии» посадили Поля Фора, красивого, черного как смоль автора многих тысяч баллад, полувеселых, полугрустных.

Можно было подумать, что в Париже все ходят вверх ногами, а у парижан был вековой, крепко налаженный быт. Когда человеку сдавали квартиру, консьержка спрашивала, имеется ли у нового квартиранта зеркальный шкаф; кровать, стол, стул нельзя было описать; вот если не будет вовремя внесена квартирная плата, то опишут зеркальный шкаф. На похоронах мужчины шли впереди, за ними следовали женщины. Кладбища походили на макет города: там были свои улицы. На могилах зажиточных людей значилось: «Вечная собственность», это не было иронией – могилы бедняков через двадцать лет перекапывали. После похорон все отправлялись в один из трактиров возле кладбища, пили белое вино и закусывали сыром. Вечером пили не кофе, а различные настои – липовый цвет, ромашку, мяту, вербену. Влюбленные оживленно обсуждали, какой настой полезнее: ему требовался мочегонный, а ей – облегчающий пищеварение. На уличных скамейках сидели старухи в тапочках и вязали. В десять часов вечера запирались двери домов: когда квартирант звонил, сонная консьержка дергала шнур, и дверь открывалась, нужно было громко сказать свое имя, чтобы не забрался чужой; выходя из дому, будили консьержку зычным криком: «Пожалуйста, шнур!» Возле Сены сидели рыболовы и тщетно ожидали, когда же клюнет воображаемый пескарь. Иногда газеты сообщали, что завтра на заре приговоренный к казни будет гильотинирован; возле тюремных ворот собирались зеваки, глазели на палача, на осужденного, потом на отрезанную голову.

Я читал книги Леона Блуа; он называл себя католиком, но ненавидел богатых святош и лицемеров в митрах; его книги были теми прокламациями, которые должны печататься в аду для ниспровержения рая. Я читал также Монтеня и Рембо, Достоевского и Гийома Аполлинера. Я мечтал то о революции, то о светопреставлении. Ничего не происходило. (Потом люди уверяли, что тот, кто не жил в предвоенные годы, не узнал сладости жизни. Я сладости не чувствовал). Когда я спрашивал французов, что же будет дальше, они отвечали – одни удовлетворенно, другие то вздохом, – что Франция пережила четыре революции и что у нее иммунитет.

Искусство все более и более притягивало меня к себе. Стихи заменяли не только бифштексы, но и ту «общую идею», о которой тосковал герой «Скучной истории», а с ним заодно Чехов. Нет, тоска оставалась: в искусстве я искал не успокоения, а исступленных чувств. Я подружился с художниками, начал посещать выставки. Ежемесячно поэты и художники оглашали различные художественные манифесты, низвергали все и всех, но все и все оставались на месте.

В детстве мы играли в игру: «да» и «нет» не говорите, «белого» и «черного» не называйте; кто по ошибке произносил запрещенное слово, платил фант. Порой мне казалось, что Париж играет в эту игру. Теперь я думаю, что, может быть, несправедливо то поносил, то благословлял Париж. Молодости присущи требовательность, беспокойство. Лермонтов написал: «А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой!», когда ему было восемнадцать лет. Кто знает, окажись я в Смоленске, не пережил ли бы я такого же смятения? Может быть, на два-три года позднее; может быть, не в столь острой форме... Что касается игры в «да» и «нет» не говорите, то она относится к природе искусства. А в Париже с искусством не разминешься...

Париж многому меня научил, он раздвинул стены моего мира. Часто этому городу приписывают веселье; по-моему, Париж умеет грустно улыбаться – таковы его дома, таковы

его поэты, таковы и глаза его девушек; это умение быть радостным в печали, печальным в радости порой его окрыляет, порой подрезает его крылья. Впрочем, об этом мне придется не раз говорить, когда я перейду к событиям последующих десятилетий; тогда я подобных выводов не делал.

Париж меня учил, обогащал, разорял, ставил на ноги и сбивал с ног. Все это в порядке вещей: когда человек что-то приобретает, он одновременно что-то теряет – идешь вперед и навеки расстаешься с теми радостями и бедами, которые еще вчера были твоей жизнью.

15

С Бальмонтом мне не повезло. Когда я начал писать стихи, его книги мне казались откровением; я мечтал когда-нибудь увидеть человека, написавшего: «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце». Познакомился я с Константином Дмитриевичем два года спустя; многое в его стихах мне уже казалось смешным – я боготворил Блока, читал Анненского, Сологуба, Гумилева, Мандельштама. Бальмонт вовремя увидел солнце, а я опоздал на Бальмонта.

Я познакомился с Константином Дмитриевичем в 1911 году; ему тогда было сорок четыре года. Я знал, что он живет в Париже, и, разумеется, послал ему мою первую книгу. Бальмонт был человеком чувств, жизнь его изобиловала случайностями, порой драматическими. Он, например, дважды оказывался эмигрантом; если применять обычные этикетки, в первый раз красным, во второй – белым. После разгрома революции 1905 года Бальмонт возмутился расправами, свистом нагаек, виселицами; он издал за границей «Песни мстителя» – книгу с весьма благородными чувствами и с весьма плохими стихами. Он называл Николая Второго «кровавым палачом». Хотя книга была на редкость слабой, царь рассердился, и Бальмонту пришлось перейти на положение эмигранта. Только в 1913 году великий князь Константин (посредственный стихотворец, подписывавшийся К. Р.) выпросил у Николая амнистию Бальмонту.

Константин Дмитриевич жил на улице Пасси (впоследствии в этом районе обосновалась белая эмиграция). У него часто бывали гости – и русские парижане, и приезжие из России, и французы. Он пригласил меня. В тот вечер я был единственным гостем. Жена Константина Дмитриевича, высокая, красивая женщина, меня приняла сердечно, я сразу перестал стесняться, забыл, что передо мной знаменитый поэт. Никуда я в гости не ходил, бывал только в кафе или у художников в нетопленных грязных мастерских, а здесь я попал в русский дом, теплый, светлый; меня напоили чаем; маленькая дочка Константина Дмитриевича, Ниника, шалила. Все было чудесно и обыденно. Все, кроме внешности хозяина: Бальмонт был необычаен.

Париж трудно удивить, но я не раз видел, как на Бальмонта оглядывались, когда он проходил по бульвару Сен-Жермен. В Москве в 1918 году люди хмуро шли с кошелками, некоторые тащили салазки; было холодно, голодно, и все же прохожие дивились: посередине мостовой шествовал рыжий чудак, с головой, поднятой к серому небу.

В молодости Бальмонт пытался кончить жизнь самоубийством – выбросился из окна; он повредил себе ногу и всю жизнь слегка прихрамывал; шагал он быстро, и казалось, что скачет птица, привыкшая скорее летать, чем ходить.

У него было лицо то чрезвычайно бледное, то цвета меди, зеленые глаза, рыжая борода, рыжие волосы, которые кудрями спадали на спину. Среди экскурсантов, приезжавших в Париж, которых я обслуживал, был один священник: заметив, что кто-то при виде его засмеялся, он стал стыдливо прятать свои волосы под шляпу, закалывая их шпильками. А Бальмонт кудрями гордился. Он походил на тропическую птицу, случайно залетевшую не на ту широту.

Он вежливо предложил мне почитать стихи, говорил «хорошо... хорошо» – вероятно, хотел приласкать молодого автора. Потом он встал и начал читать свои произведения. Стихи на меня не произвели впечатления – начиналась эпоха его поэтического заката, – но я был поражен голосом, вдохновенным и высокомерным: он читал, как шаман, знающий, что его слова имеют силу если не над злым духом, то над бедными кочевниками. Он говорил на многих языках, на всех с акцентом – не с русским, а с бальмонтовским; особенно своеобразно он произносил звук «н» – не то по-французски, не то по-польски. В стихах было много

рифм с длинными «н» – «священный», «вдохновенный», «презренный», – и он их тянул с явным удовольствием.

Иногда он звал меня к себе; я встречал у него московских меценатов, французских переводчиков, восторженных поклонниц.

В Париж приехал из Одессы молодой поэт Марк Талов, говорил, что ему пришлось оставить родину, что у него там невеста; он бедствовал; читал свои стихи:

Здесь я постиг всю горечь одиночества,
Здесь муки начинаются мои.
Нет у меня ни имени, ни отчества,
Ни родины, ни счастья, ни семьи.

Мы посмеивались, когда он повторял нам, что невеста ждет его возвращения. (Он вернулся в Одессу десять лет спустя, и невеста действительно его ждала). Талову очень хотелось прочитать свои стихи Бальмонту; я его взял с собой, но он от смущения сбился и вместо стула сел на горячую железную печку. Все рассмеялись, а Бальмонт принялся хвалить стихи, которых он так и не услышал.

Бальмонт то молчал, рассеянно глядя по сторонам, то оживлялся, рассказывал про Египет, Мексику, Испанию. Все страны в его рассказах выглядели фантастическими; он изъездил, кажется, весь мир, но увидел при этом только одну страну, которой нет на карте, я назову ее Бальмонтией.

Чехов о нем писал: «Он хорошо и выразительно говорит, только когда бывает выпивши». Я часто встречал Константина Дмитриевича в кафе. После двух трех рюмок коньяку он действительно становился прекрасным рассказчиком; я видел то чопорных пансионных хозяек Оксфорда, то колдуна с Явы, то Валерия Яковлевича Брюсова, увлекавшегося магией. Неизменно Бальмонт повторял какой-то старинный грузинский заговор, где речь шла о черном цвете. Унять его было невозможно. Он кричал своей спутнице: «Я хочу уйти в ночь! Елена, не сопротивляйся!» Было в его облике нечто величественное и жалкое, высокомерное и ребячливое.

Его сравнивали с Верленом: алкоголь, музыка, детскость. Но Бальмонт, в отличие от «бедного Лелиана», был человеком высокообразованным; он прочитал множество книг. Он переводил поэзию различных эпох, различных стран: Шелли и Кальдерона, Руставели и Уитмена, Леопарди и Словацкого, Блейка и Гейне, Эдгара По и Уайльда. Старые песни Египта и стихи Поля Фора в переводе Бальмонта звучали одинаково. Как в любовных стихах он восхищался не женщинами, которым посвящал стихи, а своим чувством, – так, переводя других поэтов, он упивался тембром своего голоса.

Он любил грандиозное: горные вершины, пропасти, океан. Художник Брак как-то сказал, что нужно уметь линейкой проверять вдохновение; Бальмонту такие слова показались бы мешанством – он жил оптом. Он писал стихи с быстротой стенографистки. Он посвящал одну и ту же книгу целой веренице лиц от «брата моих мечтаний, поэта и волхва, Валерия Брюсова» до «Люси Савицкой, с душою вольной и прозрачной, как лесной ручей». Вот любовные стихи в книге «Будем, как солнце»; одно следует за другим, и все с именными посвящениями: «Бэле», «мисс Нэти», «Н. К. Мазинг», «графине Е. В. Крейц», «княжне М. С. Урусовой», «Н...», «Р...», «Уличной испанке», «Марии Финн», «О. Н. Миткевич», «Дагни Кристенсен», «Люсе»...

В 1917–1918 годах я несколько раз встречал его в Москве. Он оставался верен себе. Революция его сердила своей настойчивостью: он не хотел, чтобы история вмешивалась в его жизнь. Не раз он страстно влюблялся и остывал, писал об этом в стихах. Он думал, что так же легко может распрощаться с эпохой: «Этим летом я Россию разлюбил...» Однажды

я прочитал ему мои стихи: о казни Пугачева, о расплате. Константин Дмитриевич сначала недовольно морщился, потом написал в моей записной книжке:

Я слышал варварскую речь,
Молитву-крик и песню в лике стога.
Но не хочу тебя предостеречь.
Ты хочешь срыва? Мощь сладка уклону.
Будь варваром. Когда царит пожар,
Лишь варвар юн и смел.
Не прав лишь тот, кто стар.

Внизу дата – 28 декабря 1917 года. Три или четыре года спустя он уехал в Париж и там решил, что прав только он. Его политические стихи с проклятиями революции столь же беспомощны, как «Песни мстителя». Он снова оказался эмигрантом, но уже не на несколько лет, а пожизненно; бедствовал; припадки запоя учащались.

В 1934 году я его встретил на бульваре Монпарнас. Он шел один, постаревший, в потертом пальто; по-прежнему висели длинные кудри, но уже не рыжие, а белые. Он узнал меня, поздоровался. «А мне говорили, что вы в России...» Я ответил, что недавно вернулся из Москвы. Он оживился: «Скажите, меня там помнят, читают?» Мне стало жаль его, я солгал: «Конечно, помнят». Он улыбнулся и пошел дальше с высоко поднятой головой, бедный низложенный король.

Большая Советская Энциклопедия посвящает «поэту-декаденту» двадцать строк – столько же, сколько Бенедиктову, но за последним признаются некоторые достоинства, за Бальмонтом – никаких. Молодые советские читатели вряд ли знают, что существовал такой поэт, а в начале XX века нельзя было найти студента, незнакомого если не со стихами, то, по меньшей мере, со славой Бальмонта. А. Волынский писал в 1901 году: «Бальмонт пользуется, с теми или иными оговорками, всеобщим признанием; несмотря на непопулярность в России декадентской поэзии, публика ловит и повторяет нежные, легкие звуки его поэтических струн». Для символистов он был учителем, мастером: им зачитывались в школьные годы Блок и Андрей Белый. Брюсов, подводя итоги взлетам и падениям Бальмонта, говорил: «Бальмонт показал нам, как глубоко может лирика вскрывать тайны человеческой души». Поэзию Бальмонта ценили и писатели, далекие от символистов, например Бунин. Трудно представить себе человека, более чуждого несдержанной, подчас великолепной, подчас ходульной поэзии Бальмонта, нежели Чехов, но Антон Павлович писал «поэту-декаденту»: «Вы знаете, я люблю Ваш талант, и каждая Ваша книжка доставляет мне немало удовольствия и волнения. Это, быть может, оттого, что я консерватор». Горький восторженно отзывался о Бальмонте, советовал редакторам журналов печатать его стихи. Я помню, с каким восхищением читал вслух стихи Бальмонта А. В. Луначарский. О Бальмонте писали сотни исследований, его книги ежегодно переиздавались; на его лекции нельзя было достать билета. Стоило поэту показаться в театре или даже на улице, как его окружали неистовые поклонницы. Неужели все это было психозом, самообманом и признание Горьким или Брюсовым таланта Бальмонта можно объяснить тем, что читающая Россия разделяла его «стремление укрыться от действительности» и его восторг перед «варварством», как утверждает статья в энциклопедии?

Я вспомнил Бенедиктова не только потому, что он был знаменит и быстро подвергся общему забвению. Можно сказать, что в своих неудачных произведениях Бальмонт напоминает Бенедиктова крикливостью, безвкусицей. Бальмонт мог, например, написать:

Хочу быть дерзким, хочу быть смелым,

.....
Хочу одежды с тебя сорвать!..

(М. А. Волошин уверял, что одна акушерка ему прислала «Ответ Бальмонту», в котором были строки:

Хочу быть твердой, хочу быть гордой,
Хочу мужчин к себе не подпускать!..)

Да, у Бальмонта сотни дурных стихов; он писал очень много и все написанное печатал. Но из тридцати его книг можно составить одну хорошую – это все же не Бенедиктов. Да и кому нравился Бенедиктов? Невзыскательным женам городничих. А Бальмонт многое изменил в русской поэзии; достаточно перечитать такие его стихотворения, как «Я изысканность русской медлительной речи...» или «Есть в русской природе усталая нежность...». Судьба к нему была на редкость несправедлива: им восхищались, а потом мстили ему за то, что он восхищал. Утверждая себя как мятежника, как выразителя современности, Бальмонт был не только эксцентриком, он был потрясающим анахронизмом. Он вошел в литературу с XX веком. Уже сновали по улицам машины, уже росли корпуса заводов, уже шли грандиозные социальные битвы, а Бальмонт оставался трубадуром XIV века, на котором был смешон современный пиджак.

Когда футуристы пришли на литературный вечер и начали громить устаревшего Бальмонта, Константин Дмитриевич, откинув голову назад, прочитал свое старое стихотворение:

Тише, тише совлекайте с древних идолов одежды,
Слишком долго вы молились, не забудьте прошлый свет...

Приближалась величайшая буря, а запоздавший трубадур обращался к первому порыву ветра с наивной просьбой – быть зефиром. Он столько книг прочитал и все-таки не понял, что древних идолов не только быстро раздевают, их преспокойно жгут. Пожалуй, в этом был еще больший анахронизм, чем в локонах и в позе веласкесовского идадьго.

Оставался длинный и неласковый закат – запустение, одиночество, нужда, душевное заболевание. Умер он в 1942 году.

16

Я перечитываю первую часть этой книги и спрашиваю себя, почему я обошел молчанием некоторых друзей, с которыми в моей молодости встречался чуть ли не каждый день и которые помогли мне оформиться, найти себя. Вероятно, я боялся рассказывать о людях, неизвестных читателям, а это глупо. С Бальмонтом я провел в жизни десяток вечеров, а с Тихоном Ивановичем Сорокиным прожил многие месяцы, и хотя он был человеком чрезвычайно мягким, терпимым к любым причудам, он оказал на меня влияние куда большее, чем тот же Бальмонт.

Не помню, как я познакомился с Тихоном Ивановичем (было это в 1912 году), зато хорошо помню его облик: смутные черты лица, карие глаза и не очень густая борода русского интеллигента начала века. В ту пору люди начали брить подбородок. Я долго уговаривал Тихона расстаться с бородкой. Образ жизни я вел непутевый: то просиживал ночи в кабаках, то, когда протрачивал все франки, голодал, писал стихи, которые сразу мне переставали нравиться, словом, жил беспорядочно. Характер у меня был несносный, я изводил Тихона за его бороду. У него позади была, говоря по-дантовски, половина жизни (он был на одиннадцать лет старше меня), но я своего добился. В моей холодной и пустой мастерской на улице Кампань-Премьер он отрезал половину бороды и побрил правую сторону, потом его рука застыла с ножницами, потрясенный, он сказал: «Может быть, не поздно остановиться?..» Взглянув в зеркальце, он сам понял, что поздно, и чеховская борода исчезла навсегда.

Он чем-то напоминал мне Чехова, может быть, добротой, душевной стыдливостью, умением выслушать и понять. Среди его многих заслуг передо мной укажу, что он столько говорил мне о «Палате № 6», о «Черном монахе», что заставил меня снова взять книги Чехова, которые я знал по годам отрочества. Благодаря Тихону Чехов с тех лет стал моим любимым писателем. Тихон раскрыл мне многое – образ Чаадаева, раннего Достоевского, романское искусство, скульптуру готики; он пробовал меня приобщить к философии Соловьева, Бердяева, Флоренского, но здесь я заупрямился – сомнения Модильяни или Гийома Аполлинера были мне куда ближе, чем «Столп и утверждение истины» (так называлась книга Флоренского).

Весной 1913 года мы решили – Тихон, Катя и я – поехать в Италию. Мы добрались до Ниццы и пошли вечером в казино. Мы вздумали поиграть в рулетку; каждому было выдано на игру столько-то франков. Мне неслыханно везло, я все время выигрывал и тяжелые пятифранковые монеты отдавал Кате, она их клала в сумку. На наше счастье, было поздно и вскоре казино закрыли. Я попробовал сумку Кати – тяжелая! На следующее утро мы подсчитали деньги, оставили пятьдесят франков на игру, а остальные потратили – пообедали в дорогом ресторане, потом поехали на ферму, где разводили страусов, там можно было кормить птиц апельсинами, разумеется, за деньги. Нас забавляло, как по длинной шее страуса спускался мячик, и мы потратили все деньги на эту забаву. Ничего, вечером снова выиграем!

В десять минут мы проиграли ресурсы. Началось унижительное существование: мы проиграли деньги на поездку в Италию, проиграли какие-то суммы, присланные из России и Парижа. Жили мы в гостинице, напоминавшей притон: в одной комнате Катя, в другой на широкой кровати я с Тихоном. Хозяин совал счет, мы отвечали «завтра». Мы заложили мой костюм и по очереди, я или Тихон, лежали днем в постели, прикидываясь перед коридорным больными. Нас мучил голод. И вот Катя нашла в сумке золотую коронку от зуба. Я начал доказывать Тихону, что он должен пойти ее продать, мы купим колбасу, паштет, сыр... «Почему я, а не ты?» – спрашивал Тихон. Я объяснил, что он старше, приличнее выглядит.

Вместо того, чтобы отправиться в лавку, где покупали золото на вес, он пошел к дантисту. Там он вынул из жилетного кармана коронку и, смущаясь, сказал: «Не хотите ли купить этот зуб?» Доктор позвонил и сказал горничной: «Проводите этого господина на лестницу».

Тихон пришел, ничего не рассказал, только выбросил меня из постели в белье и долго повторял: «Какой позор!» Тридцать лет спустя я вспомнил продажу коронки, он покраснел и закричал: «Молчи!»

Недели две мы еще бедствовали; потом торжественно дали друг другу слово больше не подходить к казино. Катя послала телеграмму в Петербург – просила у родителей денег: заболела; получив деньги, мы уехали во Флоренцию.

Иногда Тихон вспоминал свое прошлое: сын богатого купца, он вырос в городке Ливны. На масленой пекли блины для нищих. Тихон ездил на богомолье к Тихону Задонскому. В 1905 году он увлекся революцией и, будучи вольноопределяющимся, был обвинен в солдатском бунте. Ему пришлось убежать за границу. Он делил свои страсти между революцией, искусством и неопределенной мистикой. Когда его отец умер за границей, он положил в гроб прокламации. Это не мешало ему быть человеком не религиозной догмы, а скорее религиозной настроенности. Дети ливенского купца поделили наследство. Тихон Иванович изъездил ряд европейских стран. С восторгом он вспоминал недели в Дубровнике, который назывался тогда Рагузой: сочетание архитектуры Возрождения со славянской речью пленило Тихона. (В 1945 году я встретил в Дубровнике старика, который рассказал мне о давнишнем собеседнике и друге Сорокине). Был Тихон в Италии, в Испании, деньги легко тратил, и, когда мы с ним встретились, у него оставались крохи от съеденного пирога. Он снимал чердачную комнату для прислуги, и ученый аббат, приезжавший к господину Сорокину побеседовать о витражах Шартра, изумился, услышав от консьержки: «Черная лестница, последний этаж, шестая дверь налево».

Мы прекрасно провели время в Италии, денег было очень мало, зато глаза получали пищи вдоволь. Осенью Катя сказала мне, что решила выйти замуж за Тихона. Я погоревал, поревновал, но примирился. У нас с Катей жизнь не клеилась, мы были людьми с разными характерами, но с одинаковым упрямством. Да и к Тихону я успел привязаться.

Они взяли мою Ирину и жили в Пуатье. Я туда приехал на несколько дней, и Тихон мне долго объяснял красоту церкви святой Редегонды.

В книге «Стихи о канунах» есть стихотворение «Другу» с посвящением «Тихону Сорокину»:

Выдери, родимый.
Волосок за волоском!
Похлещи меня, как сына,
И пусти гулять потом.
Встану я на пригорке,
Закричу одноногим аистом:
Поглядите на исцеленного от порчи,
На покаявшегося!
Он меня всему научит.
Как пытается ласково
Своим именем мученика
Добрыми карими глазками...
Летите вы, птицы вольные,
На зеленый, на вымерший пруд!
Покричу и лягу средь черного поля,
Кровь землицей сотру...

Конечно, это – поэзия или, говоря точнее, искажение истины. Тихон меня не мучил, даже не стыдил (а было за что); он порой будил во мне совесть, и не карими глазками и не именем мученика, а сердечной чистотой, и я за это ему признателен.

Всегда он писал какую-то книгу и не дописал ни одной. Он хотел объяснить значение готики, Андрея Рублева, Ферапонтова монастыря. Мешали условия: приходилось служить, писать журнальные статьи, переводить романы с французского. А он не умел торопиться: в нем жила добропорядочность русского интеллигента прошлого века. Ко всему он был человеком болезненным, трудно сказать, чем только он не переболел.

Последние годы своей жизни он прожил с Катей в хибарке возле Нового Иерусалима. К старости чувствуешь сильнее расхождение жизненных дорог, но когда я приходил к Сорокиным, я всегда узнавал друга моей ранней молодости. Вероятно, я плохо, односторонне рассказал о Тихоне Ивановиче, но ничего не поделаешь: это – книга моих воспоминаний, а он для меня связан с далекой эпохой, когда двадцатидвухлетний юноша, голодный, растерянный, неуемный, блуждал между флорентийскими музеями, стихами символистов, различными весомыми, а подчас невесомыми «вечными истинами» и памятью или предчувствием русской метели, забастовок, куполов, чеховской нежности и чеховской жесточайшей правды.

17

В молодости мне удалось дважды побывать в Италии. Денег у меня было мало; я ночевал и на постоялых дворах, и в подозрительных притонах; ел в харчевнях макароны – миска стоила два сольди и обманчиво насыщала на несколько часов; когда не хватало денег на поезд, отправлялся в путь пешком; месяцы в Италии я вспоминаю как самые счастливые. Там я понял, что искусство не прихоть, не украшение, не праздничные даты календаря, что с ним можно жить в одной комнате, как с любимым человеком. Каждый юноша, впервые влюбляясь, думает, что он открывает неведомый дотоле мир. Так было у меня с Италией: издавна чужестранные писатели, попадая в эту страну, были по-новому счастливы, по-новому ощущали близость искусства – от Стендаля до Блока, от Гёте до нашего современника В. П. Некрасова. (Правда, Хемингуэй именно в Италии узнал меру человеческого горя, но было это в годы войны, а война – повсюду война).

Для меня Италия была и раем и школьной скамьей. В 1909 году я глядел на холсты Ван Гога, Гогена, Матисса с недоверием, почти с испугом, как теленок смотрит на поезд. Пять лет спустя я подружился с художниками – с Пикассо, Леже, Модильяни, Риверой; их работы помогали мне разобраться в клубке надежд и сомнений. Ключ к современному искусству я нашел в прошлом. Нельзя понять Модильяни без живописи Возрождения, как нельзя понять Блока без Пушкина. (Блока я понял раньше, чем Модильяни: Пушкина я знал с детства, а живописной азбуке меня никто не учил; мне говорили только, что Рафаэль величайший в мире художник и что картина «Не ждали» связана с революционной борьбой).

Когда я пришел впервые в Лувр, я был дикарем; я хотел во что бы то ни стало увидеть таинственную улыбку Джоконды, а увидев ее, начал гадать, что она означает; потом я вспомнил о Венере Милосской – необходимо ее поглядеть, ведь все говорят, что она идеал красоты, перед ней в умилении плакали Гейне и Глеб Успенский... Лувр был большим музеем в большом городе; я постоял, повздыхал и ушел. Маленькие музеи сонного Брюгге стали для меня начальной школой: но по-настоящему я пристрастился к искусству в Италии.

Я пишу сейчас не книгу о живописи, да и не пытаюсь в точности воспроизвести свои давние впечатления: очень трудно в вечер жизни припомнить, понять ее утро – меняется освещение, – меняется и восприятие того, что видишь; ко многому, что когда-то мне нравилось, я теперь равнодушен, а с годами мне начало раскрываться то, мимо чего я в молодости проходил. В отличие от точных наук, искусство не поддается бесспорным оценкам.

В XVIII веке просвещенные ценители искусств считали готику уродливым варварством. Пушкин презрительно отозвался о поэзии Франсуа Вийона. Стендаль, признавая, что Джотто был ступенькой к Рафаэлю, все же находил его живопись беспомощной и уродливой. С тех пор оценки изменились: нам близко то, что проглядели лучшие умы конца XVIII и начала XIX века. Но, может быть, не стоит повторять их ошибки и одарять презрительными оценками те произведения искусства, которые нам чужды? Я расскажу о смене суждений одного человека только для того, чтобы напомнить, как относительно наши оценки.

В 1911 году меня покорили художники кватроченто и прежде всего Боттичелли. Бог ты мой, сколько часов я простоял перед «Рождением Венеры» и «Весной»! Фрески Рафаэля мне казались скучными; Джотто напоминал иконы. Женщины Боттичелли не были грубыми, толстыми, розовыми, как на картинах венецианцев; не были бесплотными и чересчур одухотворенными, как у Мемлинга или Ван-Эйка. Венера стыдливо, чуть печально глядела на мир; примерно так же я глядел на Венеру. Я увлекался книгой «Образы Италии». Муратов как будто заглянул мне в душу: он писал, что «Рождение Венеры» – величайшая картина в мире. Я пытаюсь теперь разобраться, чем меня подкупал Боттичелли. Вероятно, сочетанием

жизненной радости с горечью, началом эпохи неверия, умением придать смятению гармонию.

Два года спустя, приехав во Флоренцию, я первым делом отправился на свидание с картинами Боттичелли и растерялся: конечно, они были прекрасны, но я ими любовался вчуже; они больше не соответствовали моему душевному состоянию. Мне уже не хотелось поэтизировать смуту; меня укачивало, и я хотел глядеть на неподвижный берег. Я с уважением думал о людях, исполненных веры, – и о Вале Неймарке, и о Франсисе Жамме. Я полюбил фра Беато: его живопись была действием, он не только писал Мадонну, он молился перед своим холстом. Меня привлекли Джотто, мастера Сьенны. Я писал:

Сьенцев пристальные взгляды,
В церкви запах воска
И соборные фасады
С мрамором в полоску.

Перед моими глазами стояли строгие задумчивые фрески первых флорентийских мастеров. Я снова попытался понять, почему славен Рафаэль, в чем притягательная сила Тинторетто, но это оставалось для меня запечатанной книгой.

Вскоре после этого я забыл о фра Беато. Я увидел удлинённые тела Греко, гигантов Микеланджело, трагические пейзажи Пуссена. Я узнал десятки различных музеев. Иногда судьба забрасывала меня в Италию. Происходили величайшие события, о которых можно написать сотни книг, и то не про все расскажешь. В 1924 году я увидел Италию униженную, оскорбленную, возмущенную: когда я был в Риме, фашисты похитили Маттеоти. Иеремия в Сикстинской капелле горевал и пытался оправдать свое звание пророка.

Четверть века спустя я снова очутился в Италии. «Весна» Боттичелли показалась мне манерной и приторной. Я глядел с уважением на падуанские фрески Джотто, но не было по мне прежнего трепета. Зато на старости лет я впервые «открыл» Рафаэля (говорю о ватиканских станцах, «Сикстинская мадонна» и теперь оставляет меня равнодушным). Меня потрясли ясность, гармония «Афинской школы» и «Диспута о причащении»; трудно себе представить, что они созданы молодым человеком. Обычно художники формируются медленно, как деревья, да и век художника долог – Тициан дожил до девяноста девяти лет, Энзор до восьмидесяти девяти, Энгр и Руо – до восьмидесяти семи, Микеланджело, Клод Лоррен, Шарден, Гойя, Моне, Дега, Матисс перевалили за восемьдесят. А Рафаэль умер, как умирают поэты, – тридцати семи лет, – и, кажется, был самым умудренным. Сюжеты не увлекали его и не отталкивали; ему пришлось, например, изобразить церковный диспут о причащении; будучи человеком глубоко светским, он не мог воодушевиться сюжетом. Нас чрезвычайно мало интересуют теологические дискуссии XVI века, но мы стоим очарованные – нас поражает композиция Рафаэля. «Только то пригодно для описания, что останется интересным и после того, как история вынесет свой приговор», – говорил Стендаль. Что же «интересно» нам в «Диспуте о причащении»? Конечно, не предмет спора, да и не участники дискуссии. Композиция, рисунок, краски продолжают нас волновать четыреста лет спустя после того, как история вынесла свой приговор не только adeptам различных форм причащения, но и верованиям, породившим эти обряды.

В Венеции я не мог уйти из длинного зала школы Сан-Рокко, где находятся холсты Тинторетто. Дело снова не в сюжетах – они те же, что на картинах множества других художников. Но Тинторетто, который видел, ощущал, понимал мир трагически, сумел это выразить; ему было достаточно пальцев ноги, складок бархата, сползающего вниз, облака, куска стены, чтобы рассказать миру то, о чем начал вскоре писать Шекспир. В картинах Тинторетто – все элементы современного искусства; и в школе Сан-Рокко особенно ясно понимаешь наив-

ность апологетов абстрактной живописи, стремящихся найти более свободное, или, если угодно, более углубленное разрешение живописных проблем, чем то делали Тинторетто, Сурбаран или много позднее Сезанн. Тинторетто приходилось считаться с догмами католической церкви, с ханжеством и лицемерием венецианских дождей, со множеством, казалось бы, ненужных препятствий, а препятствия нужны большому художнику – это стартовая площадка, начало преодоления непреодолимого.

Я пересказал весьма спорные суждения юноши, человека сорока лет и мои теперешние, старческие, конечно, не потому, что они сами по себе представляют какой-либо интерес, да я и не искусствовед. Мне кажется, что любопытны не оценки, а их смена в течение одной человеческой жизни. Поэт Бальмонт наивно просил не торопиться с разоблачением вчерашних кумиров. Настоящие мастера не нуждаются в сострадании; но простой здравый смысл подсказывает некоторую осмотрительность: развенчанные идола могут снова стать богами. Открытие в области наук опрокидывает теории предшественников: нельзя теперь изучать астрономию ни по Птолемею, ни по Пифагору; а скульптура древних греков представляется нам совершенной. Мне сейчас не по душе Боттичелли; несущественно, что я любил его в молодости, существенно то, что его, наверно, будут любить если не наши внуки, то наши правнуки. Мне трудно сказать доброе слово о живописцах болонской школы – у меня с ними свои счеты, хотя, конечно, это не их вина: болонская живопись на триста лет определила каноны того условного, эклектического искусства, которое, по недоразумению или по привычке, многие до сих пор называют реалистическим. (Брюсов писал в 1922 году: «Реализм, беря слово не как философский термин, а в том смысле, как оно употребляется в области искусств, ставит перед художником задачу: верно воспроизводить действительность. Но какой художник, где, когда, в какой стране, в какую эпоху задавался иной целью? Вся разница была лишь в том, что понимать под “действительностью”... Художники итальянской школы эпохи Возрождения и даже их предшественники “прерафаэлиты”, те, которым так охотно противопоставляют жанровую живопись фламандцев и голландцев, мечтали ли изображать что-то чуждое действительности?... Чего добивались импрессионисты, которых винили в свое время критики, что они делают лишь пятна, совершенно не соответствующие действительности? Да именно того, чтобы при помощи этих пятен вернее, точнее передать реальность, как она воспринимается нашими внешними чувствами, нашим зрением»). Стоит художнику вместо античных мифов или евангельских сцен изобразить событие, волнующее его современников, и придерживаться при письме условных канонов болонской школы, как его поздравляют: он – реалист. Но пройдет двадцать или сорок лет, исчезнут в мире последние эпигоны академического направления, и тогда наши внуки или правнуки смогут реабилитировать холсты Карраччи и других болонцев. Искусство прошлого не только раскрывает нам глаза, оно раскрывается от жара наших глаз. Любовь потомков – вот неутомимый реставратор, который расчищает пожухшие холсты, возвращает им первоначальное сияние.

Мне остается добавить, что, когда я был в Италии осенью 1959 года, самое сильное впечатление на меня произвели этрусские саркофаги – исступленные мужчины и женщины, поднимающиеся из каменных гробов. Я долго глядел на них во дворе небольшого музея в Таркинье, неподалеку от Рима. Теперь, когда я пишу эту книгу и пытаюсь оживить мое прошлое, друзей, большинство которых я пережил, я вижу перед собой мужчин и женщин, живших за двадцать пять веков до того, как я родился. Мне кажется, что я их знаю и понимаю, как моих современников.

В молодости я особенно нежно любил Флоренцию; ее сельский дух, сочетание скульптуры Донателло и крестьян в широких соломенных шляпах, керамики делла Робби и холмов вокруг города, садов, огородов, одиноких кипарисов, лавочек на Старом мосту, базаров, мутной реки, ясного неба и тени Данте, встретившего здесь свою Беатриче. Как все города, построенные в одну эпоху и, следовательно, гармоничные, Флоренция сразу понятна и мила.

С годами я полюбил Рим. Эпохи в нем перемешаны; рядом античные развалины и новые кварталы, извивающиеся статуи барокко и базилики первых христиан, высокое Возрождение и помпезные памятники конца XIX века; вначале этот непорядок стесняет приезжего, но потом видишь, что века в Риме мирно сосуществуют. Рим прекрасен не только там, где его смотрят караваны туристов, – любая улица, любая стена ничем не примечательного дома радует глаз. Его гармония сложна: в ней цельность, доступная только большому художнику и большому народу.

До чего были неправы путешественники (среди них и великие, как Гете), которые увидели в Италии только музей да еще бессмертную красоту природы! Все, что меня чаровало и чарует в Италии, тесно связано с людьми, – народы, конечно, меняются, но если есть возможность охватить века, спасти прошлое от забвения и непонимания, то это связано с гением народа, с некоторыми присущими ему чертами.

Я много лет прожил во Франции, научился понимать французов, о моей любви к ним говорить не приходится – она известна. Именно поэтому я решаюсь повторить слова Стендаля, который утверждал, что итальянцы проще, непосредственнее французов. Могло ли это не подкупить юношу, еще помнившего тепло душевных бесед где-нибудь на Козихах, на Остоженке или на Арбате? Конечно, итальянцы, как и все люди, бывают разные; я не забываю ни про борьбу классов, ни про эпоху фашизма; и все же мне думается, что в характере итальянцев заложена доброта.

Я часто спрашивал себя, почему итальянские кинокартины последнего десятилетия так понравились разноязычным людям – «Похитители велосипедов», «Чудо в Милане», «Два гроша надежды», «Рим в одиннадцать часов», «Ночи Кабирии». Разумеется, они представляют значительное явление в развитии кино; но рядовых зрителей мало интересовал неореализм; вернее сказать, благодаря реалистическому, правдивому отображению действительности перед ними были настоящие, живые итальянцы, и покоряли зрителей черты национального характера: на экране разворачивалась тяжелая, порой безысходная жизнь, но повинны в страданиях людей были не злодеи, а обстоятельства, не душевное уродство того или иного персонажа, а уродство социальной системы.

В памяти миллионов моих соотечественников еще живы картины войны. Политическая карта мира изменилась; рассудок подсказывает, что нужно кое-что забыть, кое-чему научиться; но у сердца свои законы. В 1949 году один немец в Берлине сказал мне, что ему понравился мой роман «Буря», особенно сцена боев под Ржевом. «Очень живо описано, – добавил он, – может быть, вы там были?» Когда я ответил утвердительно, он, обрадованный, воскликнул: «Я тоже там был!» – и протянул мне руку. Признаюсь, нелегко мне далось это рукопожатие. Я часто встречал итальянцев, которые с печалью говорили, что в годы войны они были в Донбассе; я мог с ними дружески разговаривать. Люди, побывавшие в оккупации, рассказывали мне об итальянцах без злобы; одна колхозница вспоминала: «Он хотел курицу взять, а совестно, ждал, когда я отвернусь, уж я сама ушла – пожалела его...»

Мне еще придется не раз в этой книге говорить об Италии и об итальянцах. Иногда, пренебрегая хронологией, я забегаю вперед – хочется что-то додумать, досказать; это ведь не столько история моей жизни, сколько размышления, порожденные воспоминаниями. Вернусь теперь к годам, предшествовавшим первой мировой войне.

Я не стараюсь взглянуть на прошлое сквозь розовые очки. Жизнь в Италии отнюдь не была идиллией: на каждом шагу я видел нищету. Буржуазия была чванливее и глупее французской. В кафе на Корсо можно было увидеть депутатов; они говорили, сговаривались, договаривались; стоял запах скверной парламентской кухни. Встречал я и провинциальных эстетов, которые старались подражать парижским снобам; как всегда, ученики шли дальше учителей.

В Париже меня познакомили с поэтом Маринетти; он был очень самоуверен и столь же честолюбив; дал мне свою поэму «Мое сердце из красного сахара»: «Если вы ее переведете, вы откроете России поэта завтрашнего дня...» Я перевел отрывок и снабдил его маленьким предисловием: «Трудно любить стихи Маринетти. От него отталкивают внутренняя пустота, особенно дурной вкус и склонность к декламации». Потом я был на литературном вечере – Маринетти прославлял футуризм, чудеса техники, завоевание мира. Когда впоследствии он примкнул к фашистам, это было логично: он не приспособился, он и прежде мечтал о насилии; за красным леденцом последовала кровь...

Во Флоренции однажды я встретил тридцатилетнего Джованни Папини; незадолго до того вышла его нашумевшая автобиография «Конченный человек». Мы сидели в маленькой траттории; молодые писатели спорили о футуристах, о «сумеречниках» (так называлась одна из литературных групп), о философии Кроне. Папини мне показался горьким, едким. Вдруг, растерянно улыбнувшись, он сказал: «А что ни говорите, главное, чтобы человек был счастлив, и таким счастьем, от которого счастливы другие...»

И где-то возле Лукки я уснул под деревом, усталый, голодный. Меня разбудили дети. Толстая черная крестьянка, мать детей, позвала меня в дом, поставила на стол миску с макаронами, бутылку вина, оплетенную соломой. Я жадно уплетал макароны, а хозяйка шила детское платье и, поглядывая на меня, вздыхала. «У тебя есть мама?» – неожиданно спросила она. Я сказал, что моя мать далеко – в Москве. Тогда, не оставляя шитья, она запела грустную песенку. Я вышел из ее дома; ночь была южная, черная, и, как мириады звезд, кружились, металась светляки.

В Италии я поверил в возможность искусства и в возможность счастья. А начиналась эпоха, когда искусство казалось обреченным, счастье – невысказанным.

18

Я сидел в «Клозери де лиля» и переводил стихи французских поэтов — хотел составить антологию. Волошин меня представил Александру Мерсеро, который был поэтом малопримечательным, но обходительным человеком: он приносил мне книги и знакомил со своими более прославленными товарищами.

Крупный русский промышленник Н. П. Рябушинский в 1906 году решил издавать художественный журнал «Золотое руно»; текст должен был печататься по-русски и по-французски. Требовался стилист, способный выправлять переводы. Рябушинский не останавливался перед затратами и заказал настоящего французского поэта. Выполнить заказ оказалось нелегко: поэтам не улыбалось надолго покинуть Париж.

В предместье Парижа Кретей, в помещении бывшего аббатства, поселились несколько поэтов; они писали стихи, готовили себе еду и сами печатали свои произведения на ручном станке. Так родилась литературная группа «Аббатство»; многие из ее участников впоследствии стали знаменитыми: Дюамель, Жюль Ромен, Вильдрак. Всех этих поэтов объединяло стремление уйти от узкого индивидуализма, вдохновляться мыслями и чувствами, которые присущи всем. Были в «Аббатстве» и поэты, подававшие мало надежд, среди них Мерсеро; он соблазнился работой в «Золотом руне»: жизнь в поэтическом фаланстере была монотонной.

Мерсеро говорил, что Москва ему понравилась, но не любил вспоминать, что особенно понравилась ему одна москвичка, жена чиновника. Об этой странице его биографии мне рассказал Волошин. Французский поэт и жена московского чиновника были счастливы, но приближался час разлуки. Мерсеро недаром был поэтом, он предложил романтический план: «Ты убежишь со мной в Париж». Москвичка напомнила влюбленному фантазеру, что из России нельзя выехать без заграничного паспорта. У возлюбленной была сестра, очень невзрачная, на которую Мерсеро не обращал внимания; но в трудную минуту она оказалась залогом счастья: «Женись на моей сестре, она получит заграничный паспорт и объявит, что уезжает с тобой в Париж. Я приду вас провожать, в последнюю минуту я войду в вагон, а сестра останется на перроне. Паспорт, конечно, будет у меня». Мерсеро план понравился; состоялась пышная свадьба. Возлюбленная, как было условлено, пришла на вокзал, но, когда раздался третий звонок, она не двинулась с места и только помахала платочком: в купе сидела законная супруга.

Мерсеро привез в «Аббатство» навязанную ему жену, которая, увидев своеобразный фаланстер, пришла в ужас: могла ли она подумать, что французские поэты живут хуже, чем московские приказчики! Начались пререкания, упреки, сцены; поэтам «Аббатства» больше было не до стихов. Они попросили Волошина объясниться с мадам Мерсеро, которая так и не научилась говорить по-французски. В итоге жена поэта поняла, что лучшей жизни ей не дожидаться, и уехала в Москву. Самой трогательной была небольшая деталь: рассказывая про дом коварной возлюбленной, Мерсеро восклицал: «У них подавали красную икру! Черную в России едят повсюду, но у них была красная, это были очень богатые люди...»

Россию в те годы французы знали мало. Видел я инсценировку «Братьев Карамазовых» в передовом театре «Вье Коломбье». На сцене висел портрет царя, и проходившие, поворачиваясь к нему, крестились. Помню, как я познакомил А. Н. Толстого с одним молодым поэтом, посещавшим «Клозери де лиля»; поэт разговаривал с Алексеем Николаевичем благоговейно, а потом ляпнул: «Здесь, знаете, писали о вашей смерти, значит, это была утка...» Алексей Николаевич захохотал особым, присущим только ему смехом, от которого содрогнулись и рюмки на столе, и бедный поэт, едва пролепетавший: «Простите, я не догадался, что вы сын великого Толстого, я знаю, что его сын тоже великий писатель...» Алексей Нико-

лаевич писал, что, когда в 1916 году он приехал в Англию, какой-то англичанин сердечно приветствовал автора «Войны и мира».

Критик газеты «Голуа» пришел к М. А. Волошину и сразу ошеломил его вопросом: «Вы, конечно, присутствовали на похоронах Достоевского, когда казаки били студентов. Нас интересуют подробности...» Максимилиан Александрович обожал разыгрывать людей и начал описывать «подробности»; критик в восторге исписал весь блокнот; наконец Волошин сказал: «Вот все, что я запомнил, – мне ведь тогда было четыре года от роду...»

Двадцать лет спустя я купил в Париже большую карту Европы; на севере Советского Союза вместо областей и городов значилось: «Самоеды». «Маленький словарь» Ларусса, выпущенный в 1946 году, давал сведения о Нессельроде, о Каткове, о путешественнике Чихачеве, но ничего не сообщал о таких малопримечательных людях, как Грибоедов, Некрасов, Чернышевский, Герцен, Сеченов, Павлов...

Впрочем, несправедливо говорить только о французах. Поскольку я вспоминаю о событиях, скорее, забавных, расскажу, как меня чествовали в английском Пен-клубе. Было это в 1930 году. Я получил приглашение быть почетным гостем на очередном обеде Пен-клуба, к письму был приложен длинный документ о желательности смокинга и допустимости черного пиджака. На обеде председательствовал знаменитый писатель Голсуорси; он меня тепло приветствовал, сказав, что английские писатели рады увидеть в своей среде крупного австрийского кинорежиссера, создавшего прекрасный фильм «Любовь Жанны Ней». (Фильм по моему роману действительно сделал австрийский режиссер Пабст). Обеды не диспуты, и я пожал руку Голсуорси. Моей дамой оказалась старая, сильно декольтированная англичанка; она пыталась развлечь меня и долго говорила о романтичности старой Вены. Я почувствовал себя самозванцем и сказал, что я не австриец, а русский. Она сразу стала печальной, преисполненной сострадания, сказала, что очень любит Россию, страдает вместе со мной, спросила: «Но что сделали большевики с вашим бедным генералом?..» (Незадолго до описываемого мною обеда в Париже при таинственных обстоятельствах исчез генерал Кутепов). Я спокойно ответил: «Разве вы не знаете? Они его съели». Дама выронила из рук нож и вилку: «Какой ужас! Но от них можно всего ожидать...»

Французы любят анекдот об англичанине, который, увидев в Кале рыжую женщину, потом написал, что все французенки рыжие. Я вспоминаю разговоры русских туристов, которым я показывал Версаль. Один учитель восхищался богатством французов – он увидел возле вокзала Сен-Лазар оборванца, который пил красное вино. «Дома расскажу – никто не поверит: босяк, нищий и преспокойно дует вино...» Учитель был из Самарской губернии; он так и не поверил, что вино во Франции дешевле минеральной воды. Другой турист, инспектор реального училища, наоборот, пришел к выводу, что французы нищенствуют; он говорил по-французски и в Версальском парке познакомился с преподавателем местного лицея; инспектор повторял: «Вот вам их культура, вот вам их богатство! Учитель лицея, и у него нет прислуги, жена сама готовит обед...» Один эмигрант, бывший семинарист, а впоследствии эсер, показал мне свою повесть: она была посвящена страданиям русского идеалиста, влюбившегося в безнравственную французенку; страниц сто автор посвятил рассуждениям о развращенности французов; основным аргументом было то, что французы целуются даже в ресторане. Напрасно я пытался объяснить ему, что такие поцелуи равносильны ласковому слову или взгляду, что они не мешают парочке преспокойно наслаждаться бараньим рагу или свиной с бобами; он упрямо отвечал: «Мне перед женой неловко – ведь у всех на глазах!.. Это, знаете, народец!..»

Человеку трудно расшифровать быт чужой страны, даже если он к нему некоторое время присматривается; о туристе и говорить нечего. Сколько я читал вздора в газетах – и русских и французских, основанного все на той же развесистой клюкве, под которой сидел Дюма-отец!

Смеяться над Мерсеро не приходится: его ошибка глубоко человечна. Бывший семинарист, тот, что возмущался безнравственностью французов, наверно, расставаясь со своей супругой, целовал ее на вокзале; а ведь это показалось бы японцу бесстыдным и безнравственным. Вся беда в том, что люди считают свои обычаи, или, как теперь говорят, свой «образ жизни», единственно правильным и осуждают если не вслух, то про себя все, что от него отклоняется.

Создаются представления о характере народа, построенные на случайных и поверхностных наблюдениях. Что знали даже начитанные французы накануне первой мировой войны о русских? Они видели богачей, кидавших деньги направо и налево, проводивших время в дорогих притонах Монмартра, проигрывавших за одну ночь в Монте-Карло имения, равные по площади французскому департаменту, то есть области. Во французский язык вошло слово «бояры» – так называли богатых русских. Начитанные французы увлекались Достоевским, из которого они почерпнули, что русский любит неожиданно убивать, презирать денежные обязательства, верить в бога и в черта, оплевывать то, во что он верит, и заодно самого себя, каяться в публичных местах, целуя при этом землю. Газеты сообщали о беспорядках в России, о террористических актах, о героизме революционеров. Французы называли русских революционеров «нигилистами»; толковый словарь, изданный в 1946 году, то есть тридцать лет спустя после Октябрьской революции, дает следующее объяснение слову «нигилизм»: «Доктрина, имеющая последователей в России, которая стремится к радикальному разрушению социального строя, не ставя перед собой цель заменить его какой-либо другой определенной системой». С точки зрения француза, подобная доктрина могла соблазнить только мистиков. Ко всему, француз узнавал, что «нигилисты» имеются даже среди «бояр»; это его окончательно убеждало в существовании какой-то особой «славянской души», этой «душой» он объяснял все последующие исторические события.

Мальчишкой я читал русские романы, в которых изображались немцы; одни были мечтателями, как тургеневский Лемм, другие энергичными, ограниченными тружениками, как Штольц Гончарова. В дореволюционной России немцы считались людьми умеренными и добропорядочными. Недавно мне попала в руки книга В. Розанова, который описал Германию 1912 года – накануне первой мировой войны: «Честно пожать руку этих честных людей, этих добросовестных работников, значит сразу вырасти на несколько аршин вверх... Я бы не был испуган фактом войны с немцами. Очевидно, это не нервно-мстительный народ, который, победив, стал бы добивать... Немец “en masse” или простак в политике, или просто у него нет аппетита – все съесть кругом. Вот отчего войны с Германией я не страшился бы. Но просто чрезвычайно приятно быть другом или приятелем этих добропорядочных людей... Я дал бы лишнее, и просто ради доброго характера. Уверен, что все потом вернулось бы сторицей. Я знаю, что это теперь не отвечает международному положению России, и говорю мысль свою почти украдкой, “в сторону”, для будущего... Ну, а чтобы дать радость сорока миллионам столь порядочных людей, можно другим народам и потесниться, даже чуть-чуть кому-нибудь пострадать». С тех пор мы пережили две войны. Слова В. Розанова не умнее разговоров Мерсеро о красной икре, но они не рассмешат никого.

А русский миф о французе, который «быстр, как взор, и пуст, как вздор», о его легкомыслии и опрометчивости, о его тщеславии и безнравственности; миф о Париже, который называли «новым Вавилоном» и который слыл не только законодателем мод, но и питомником распутства! (Недаром моя мать боялась, что я пропаду в Париже, – это покоилось на общераспространенной легенде). Как не походила на подобные описания страна, где я оказался, где семейные устои были куда сильнее, чем в России, где люди дорожили вековыми навыками, порой и предрассудками, где в буржуазных квартирах были закрыты ставни, чтобы не выгорели обои, где боялись, как чумы, сквозняков, где ложились спать в десять и

вставали с петухами, где в ночных кабаках редко можно было услышать французскую речь, где я мог сосчитать на пальцах знакомых, которые побывали за границей!

Теперь самолет в несколько часов пересекает Европу; за одну ночь можно долететь из Парижа в Америку или в Индию; а люди по-прежнему плохо знают друг друга. Их разделяют не мысли, а слова, не чувства, а формы выражения этих чувств: нравы, детали быта. Непонимание – вот тот бульон, в котором разводят микробов национализма, расизма, ненависти: «Гляди, он живет не так, как ты, он ниже тебя и не хочет того признать; он говорит, что он живет лучше тебя, что он выше тебя; если ты его не убьешь, он заставит тебя жить по-своему». Можно договориться о том, что дипломаты издавна называли «modus vivendi», – о временной передышке; но подлинное мирное сосуществование мне кажется невысказанным без взаимного понимания. Говорят, что наша планета давно обследована, что теперь очередь за Марсом или за Венерой. Да, картографам известны все возвышенности, все острова, все пустыни; но обыкновенный человек еще очень мало знает, как живут его сверстники на давно открытом острове, в странах, давным-давно обследованных, да и в странах, которые считали себя открывателями. Я говорю об этом, потому что изъездил Европу, побывал в Азии, в Америке и в итоге понял, до чего трудно разобратся в чужой жизни.

19

Приезжая в Париж, Максимилиан Александрович Волошин располагался в мастерской, которую ему предоставляла художница Е. С. Кругликова, в центре Монпарнаса, облюбованного художниками, на улице Буассонад. В мастерской висело изображение египетской царевны Таиах, под ним стоял низкий диван, на котором Макс (так его звали все на второй или третий день после знакомства) сидел, подобрав под себя ноги, курил в кадилнице какие-то восточные смолы, варил на спиртовке турецкий кофе, читал книги об искусстве Ассирии, о масонах или о кубизме, а также писал стихи и корреспонденции в московские газеты, посвященные выставкам и театральным премьерам. На двери мастерской он написал: «Когда стучитесь в дверь, объявляйте погромче, кто стучит»; впрочем, будучи человеком общительным, он не открывал двери только румынскому философу, который требовал, чтобы его труды были немедленно изданы в Петербурге и чтобы Волошин выдал ему авансом сто франков.

Андрей Белый в своих воспоминаниях говорит, что Волошин казался ему примерным парижанином – и по прекрасному знанию французской культуры, и по своей внешности: борода, подстриженная лопатой, «не нашенская», цилиндр, манеры. Поскольку и познакомился с Максом в Париже, я никак не мог его принять за парижанина; мне он напоминал русского кучера, да и борода у него была скорее кучерская, чем радикал-социалистическая (накануне войны бороды в Париже начали исчезать, но их сохраняли солидные радикал-социалисты из уважения к традициям благородного XIX века). Правда, русские кучера не носили цилиндров, это был головной убор французских извозчиков, но на длинных густых волосах Макса цилиндр казался аксессуаром цирка.

В Париже Волошин слыл не только русским, но архирусским, он охотно рассказывал французам о раскольниках, которые жгли себя на кострах, о причудах Морозова или Рябушинского, о террористах, о белых ночах Петербурга, о живописцах «Бубнового валета», о юродивых Древней Руси. В Москве, по словам Андрея Белого, Макс блистал рассказами о бомбе, которую анархисты бросили в ресторан Файо, о красноречии Жореса, о богохульстве Реми де Гурмона, о видном математике Пуанкаре, о завтраке с молодым Ришпенем. У Волошина повсюду находились слушатели, а рассказывать он умел и любил.

Дети играют в сотни замысловатых или простейших игр, это никого не удивляет; но некоторые люди, особенно писатели и художники, сохраняют любовь к игре до поздних лет. Горький рассказывал, как Чехов, сидя на скамейке, ловил шляпой солнечного «зайчика». Пикассо обожает изображать клоуна, участвует в бое быков как самодеятельный тореадор. Поэт Незвал всю жизнь составлял гороскопы. Бабель прятался от всех, и не потому, что ему могли помешать в его работе, а потому, что любил играть в прятки. Макс придумывал невероятные истории, мистифицировал, посылал в редакцию малоизвестные стихи Пушкина, заверяя, что их автор аптекарь Сиволапов, давал девушке, которая кричала, что хочет отравиться, английскую соль и говорил, что это яд из Индонезии; он играл, даже работая; есть у него статья «Аполлон и мышь», которую иначе чем игрой не назовешь. Он обладал редкой эрудицией; мог с утра до вечера просидеть в Национальной библиотеке, и выбор книг был неожиданным: то раскопки на Крите, то древнекитайская поэзия, то работы Ланжевена над ионизацией газов, то сочинения Сен-Жюста. Он был толст, весил сто килограммов; мог бы сидеть, как Будда, и цедить истины; а он играл, как малое дитя. Когда он шел, он слегка подпрыгивал; даже походка его выдавала – он подпрыгивал в разговоре, в стихах, в жизни.

Ему удалось одурачить, или, как теперь говорят, разыграть, достаточно скептический литературный Петербург. Вдруг откуда-то появилась талантливая молодая поэтесса Черубина де Габриак. Ее стихи начали печататься в «Аполлоне». Никто ее не видел, она только

писала письма редактору журнала С. К. Маковскому, который заочно в нее влюбился. Черубина сообщала, что по происхождению она испанка и воспитывалась в католическом монастыре. Стихи Черубины похвалил Брюсов. Все поэты-акмеисты мечтали ее встретить. Иногда она звонила Маковскому по телефону, у нее был мелодичный голос. Никто не подозревал, что никакой Черубины де Габриак нет, есть никому не известная талантливая поэтесса Е. И. Дмитриева, которая пишет стихи, а Волошин помогает ей мистифицировать поэтов Петербурга. В Черубину влюбился и Гумилев, а Макс развлекался. Возмущенный Гумилев вызвал Волошина на дуэль. Макс рассказывал: «Я выстрелил в воздух, но мне не повезло – я потерял в снегу одну галошу...» (Е. И. Дмитриева продолжала и впоследствии писать хорошие стихи. Незадолго до своей смерти С. Я. Маршак попросил меня приехать к нему. Он говорил мне о судьбе Е. И. Дмитриевой, рассказывал, что в двадцатые годы написал вместе с Елизаветой Ивановной несколько пьес для детского театра – «Кошкин дом», «Козел», «Лентяй» и другие. Пьесы эти вышли с именами обоих авторов. Потом Е. И. Дмитриеву выслали в Ташкент, где она умерла в 1928 году. В переиздании пьес выпало ее имя. Самуила Яковлевича мучило, что судьба и творчество Е. И. Дмитриевой, бывшей Черубины де Габриак, неизвестны советским читателям. Он советовался со мной, что ему следует сделать, и я вставляю эти строки, как двойной долг и перед С. Я. Маршаком, и перед Черубиной де Габриак, стихами которой увлекался в молодости).

Чего Волошин только не выдумывал! Каждый раз он приходил с новой историей. Он не выносит бананов, потому что – это установил какой-то австралийский исследователь – яблоко, погубившее Адама и Еву, было вовсе не яблоком, а бананом. У антиквара на улице Сэн он нашел один из тридцати сребреников, которые получил некогда Иуда. Писатель восемнадцатого века Казотт в 1778 году предсказал, что Кондорсе отравится в тюрьме, чтобы избежать гильотины, а Шамфор, опасаясь ареста, разрежет себе жилы. Он не требовал, чтобы ему верили, – просто играл в интересную игру.

Он встречался с самыми различными людьми и находил со всеми нечто общее; доказывал А. В. Луначарскому, что кубизм связан с ростом промышленных городов, что это – явление не только художественное, но и социальное; приветствовал самые крайние течения – футуристов, лучистов, кубистов, супрематистов и дружил с археологами, мог часами говорить о вазе минойской эпохи, о древних русских заговорах, об одной строке Пушкина. Никогда я не видел его ни пьяным, ни влюбленным, ни действительно разгневанным (очень редко он сердился и тогда взвизгивал). Всегда он кого-то выводил в литературный свет, помогал устраивать выставки, сватал редакциям русских журналов молодых французских авторов, доказывал французам, что им необходимо познакомиться с переводами новых русских поэтов. Алексей Николаевич Толстой рассказывал мне, как в молодости Макс его приободрил. Волошин сразу оценил и полюбил поэзию молоденькой Марины Цветаевой, пригрел ее. В трудное время гражданской войны он приютил у себя Майю Кудашеву, которая писала стихи по-французски, а потом стала женой Ромена Роллана.

Ходил он в своеобразной одежде (цилиндр был, скорее, парадной вывеской, чем шляпой) – бархатные штаны, а в Коктебеле рубашонка, которую он пресерьезно именовал «хитом». Над ним посмеивались; Саша Черный писал про «Вакса Калошина», но Макс не обижался. Был Макс подпрыгивающий, который рассказывал, что Эйфелева башня построена по рисунку древнего арабского геометра. Был и другой Макс – проще, который жил в Коктебеле с матерью (ее называли Пра); в трудные годы этот второй Макс уплетал котелок каши. Всегда в его доме находили приют знакомые и полужнакомые люди; многим он в жизни помог.

Глаза у Макса были приветливые, но какие-то отдаленные. Многие его считали равнодушным, холодным: он глядел на жизнь заинтересованный, но со стороны. Вероятно, были

события и люди, которые его по-настоящему волновали, но он об этом не говорил; он всех причислял к своим друзьям, а друга, кажется, у него не было.

Он был и художником: писал акварели – горы вокруг Коктебеля в условной манере «Мира искусства»; мог изготовить в один день пять акварелей. А любил он живопись, не похожую на ту, что делал. В стихах у него много увиденного, живописного; он верно подмечал:

В дождь Париж расцветает,
Точно серая роза...

Или о том же Париже:

И пятна ржавые сбежавшей позолоты,
И небо серое, и веток переплеты —
Чернильно-синие, как нити темных вен.

О Коктебеле:

Горелый, ржавый, бурый цвет трав.
Полосы йода и пятна желчи.

Вначале я относился к Волошину почтительно, как ученик к опытному мастеру. Потом я охладел к его поэзии; его статьи об эстетике мне начали казаться цирковыми фокусами: я искал правду, а он играл в детские игры, и это меня сердило.

Среди его игр была игра в антропософию. Андрей Белый долго верил в Штейнера, как старая католичка верит в римского папу. А Макс подыгрывал. Он отправился в Дорнах, близ Базеля, где антропософы строили нечто вроде храма. Началась война: Дорнах был в нейтральной Швейцарии, возле эльзасской границы. Строители «храма» (помню, в разговорах с Максом я всегда говорил «твое капище»), среди которых были Андрей Белый и Волошин, по ночам слышали артиллерийский бой. Вскоре Волошин приехал в Париж с книгой стихов, написанных в Дорнахе; книга называлась «Anno mundi ardenti». Стихи эти резко отличались от стихов, которые тогда писали другие поэты: Бальмонт потрясал оружием; Брюсов мечтал о Царьграде; Игорь Северянин кричал: «Я поведу вас на Берлин!» А Волошин, забыв свои детские игры, писал:

Не знать, не слышать и не видеть...
Застыть, как соль... уйти в снега...
Дозволь не разлюбить врага,
И брата не возненавидеть.
.....
В эти дни нет ни врага, ни брата:
Все во мне, и я во всех...

Я тогда писал «Стихи о канунах»: я не мог быть мудрым созерцателем, как Волошин, я проклинал, обличал, неистовствовал. Макс мой новые стихи понравились; он решил мне помочь и повел меня к Цетлиным.

Цетлины были одним из семейств, которым принадлежала чайная фирма Высоцкого. Как я писал, многие члены этой чайной династии были эсерами или сочувствовали эсерам (среди них известен Гоц). Михаил Осипович Цетлин не принимал участия в подпольной

работе, он писал революционные стихи под псевдонимом Амари, что в переводе на русский язык означает «Мария» – так звали его жену. Это был тщедушный, хромо́й человек, утомленный неустанными денежными просьбами. Жена его была более деловой. Кроме Волошина, у Цетлина бывали художники Диего Ривера, Ларионов, Гончарова; бывал и Б. В. Савинков – разочарованный террорист, автор романа «Конь блед», вызвавшего газетную бурю; о нем мне еще предстоит рассказать. Сейчас я хочу остановиться на Цетлиных. Они иногда звали меня в гости; у них были горки со старинным фарфором, гравюры; а я мечтал о том, когда же рухнет мир лжи. В одной из поэм я описал вечер у Цетлиных, но благо разумно назвал их Михеевыми, а Михаила Осиповича Игорем Сергеевичем, чай я заменил спичками:

Он любит грустить вечерами.
Вот вечер снова...
Как у Лермонтова: «Отдохнешь и ты»...
Хорошо быть садовником,
Ни о чем не думать, поливать цветы.
Утром слушать, как поют птички,
Как шумит трава над прудом...
У Игоря Сергеевича две фабрики спичечные
И в бумагах миллион.
У Игоря Сергеевича жена и дочка Нелли,
Он собирает гравюры, он поэт.
Иногда он удивляется: в самом деле,
Я живу или нет?
Вечером у Михеевых гости:
Теософ, кубист, просто шутник
И председательница какого-то общества.
Кажется, «Помощь ослепшим воинам».
Игорь Сергеевич всем улыбается пристойно.
– Да, покрепче. – Еще стаканчик? —
– И Гоген недурен, но я видел Сезанчика...
– Простите за нескромность, сколько он просит?
– Десять, отдаст за восемь...
– О, кубизм, монументальность!
– Только, знаете, это наскучило...
– А я, наоборот, люблю, когда вместо глаз такие штучки...
– Вы знакомы со значением зодиака? Я от Штейнера в экстазе...
– Я познаю Господа, поеду в Базель...
– Если бы вы знали, как нуждается наше общество!
Мы устроим концерт.
Это ужасно – ослепнуть навек...
– Новости? Нет. Только взяли Ловчен...
– Надоело. Я не читаю газет...
– Вот, вот, а вы слыхали анекдот?... —
Гости говорят еще много —
Об ухе Ван Гога, о поисках Бога,
Об ослепших солдатах,
О санитарных собаках,
О мексиканских танцах
И об ассонансах...

Наверно, я был несправедлив к Михаилу Осиповичу, но это диктовалось обстоятельствами: он был богатым, приветливым, слегка скучающим меценатом, а я – голодным поэтом.

Макс уговорил Цетлина дать деньги на эфемерное издательство «Зерна», которое выпустило сборник Волошина, мои «Стихи о канунах» и переводы Франсуа Вийона.

Цетлин писал поэму о декабристах, писал ее много лет. В зиму 1917/18 года в Москве Цетлины собирали у себя поэтов, кормили, поили; время было трудное, и приходили все – от Вячеслава Иванова до Маяковского. Когда я буду писать о Маяковском, я постараюсь рассказать об одном памятном вечере (о нем упоминают почти все биографы поэта) – Маяковский прочитал поэму «Человек». Михаилу Осиповичу нравились все: и Бальмонт, который импровизировал, сочинял сонеты-акrostихи; и архиученый Вячеслав Иванов; и Маяковский, доказывавший, что фирме Высоцкого пришел конец; и полубезумный, полугениальный Велимир Хлебников с бледным доисторическим лицом, который то рассказывал о каком-то замерзшем солдате, то повторял, что отныне он, Велимир, – председатель Земного шара, а когда ему надоедали литературные разговоры, отходил в сторону и садился на ковер; и Марина Цветаева, выступавшая тогда за царевну Софью против Петра. Вот только Осип Эмилиевич Мандельштам несколько озадачивал хозяина: приходя, он всякий раз говорил: «Простите, я забыл дома бумажник, а у подъезда ждет извозчик...»

Цетлин не был убежден в конце фирмы Высоцкого, несмотря на то, что сочувствовал эсерам и ценил поэзию Маяковского. Дом Цетлина на Поварской захватили анархисты во главе с неким Львом Черным. Цетлины надеялись, что большевики выгонят анархистов и вернут дом владельцам. Анархистов действительно выгнали, но дома Цетлины не получили и решили уехать в Париж. Уехали они летом 1918 года вместе с Толстым (Алексей Николаевич довольно часто бывал у Цетлиных).

В Париже Цетлины давали деньги на журнал «Современные записки», некоторое время поддерживали Бунина и других писателей-эмигрантов. Потом они уехали в Америку; архив их пропал вместе с Тургеневской библиотекой.

Макс был в Коктебеле. Он не прославлял революцию и не проклинал ее. Он пытался многое понять. Он не цитировал больше ни Вилье де Лилль Адана, ни прорицания Казотта, а погрузился в русскую историю и в свои раздумья. Понять революцию он не смог, но в вопросах, которые он себе ставил, была несвойственная ему серьезность. Когда я был в Коктебеле, он показал себя мужественным; в мае 1920 года он спрятал на чердаке своего дома большевика И. Хмельницкого-Хмилько, участника подпольной конференции. Ночью пришли к Волошину врангелевцы, требовали выдать Хмельницкого: среди участников конференции оказался провокатор. Максимилиан Александрович заявил, что никого у него нет. Хмельницкий выдал себя неосторожным движением.

Белые арестовали поэта Мандельштама – какая-то женщина заявила, будто он пытал ее в Одессе. Волошин поехал в Феодосию, добился приема у начальника белой разведки, которому сказал: «По характеру вашей работы вы не обязаны быть осведомленным о русской поэзии. Я приехал, чтобы заявить, что арестованный вами Осип Мандельштам – большой поэт». Он помог Мандельштаму, а потом и мне выбраться из врангелевского Крыма. Он делал это не потому, что проникся идеями революции, нет, но он был человеком смелым, любил поэзию, любил Россию – как его ни звали за границу и те же Цетлины, и другие писатели, он остался в Коктебеле. Умер он в 1932 году.

Возле Коктебеля есть гора, которую называли Янычар, ее абрис напоминает профиль Макса. Там Волошина похоронили. Марина Цветаева писала осенью 1932 года:

В век: «Распевай, как хочется

Нам, – либо упраздним»,
В век скопищ – одиночество:
«Хочу лежать один»...

.....
Ветхозаветная тишина,
Сирой полыни крестик...
Похоронили поэта на
Самом высоком месте.

Стихи его теперь мало известны, но его имя знают и писатели и люди, почему-либо связанные с литературным бытом: дача Макса вместе со вновь построенными флигелями – Дом творчества Литфонда. Возможно, что на этой даче какого-нибудь поэта осенило вдохновение, и Макс после смерти еще раз вывел в свет начинающего автора. Иногда я спрашиваю себя, почему Волошин, который полжизни играл в детские, подчас нелепые игры, в годы испытаний оказался умнее, зрелее, да и человечнее многих своих сверстников-писателей? Может быть, потому, что был по своей природе создан не для деятельности, а для созерцания, – такие натуры встречаются. Пока все кругом было спокойно, Макс разыгрывал мистерии и фарсы не столько для других, сколько для самого себя. Когда же приподнялся занавес над трагедией века – в лето 1914 года и в годы гражданской войны, – Волошин не попытался ни взобраться на сцену, ни вставить в чужой текст свою реплику. Он перестал дурачиться и попытался осознать то, чего не видел и не знал прежде. Воспоминания о нем то смешат знавших его, то трогают, но никогда не принижают, а это немало...

20

Если я скажу, что в 1911 году я познакомился с поэтом, мягкое, задумчивое лицо которого, волнистые, нежные волосы, рассеянные движения выдавали мечтательность натуры, что в нем минуты шумного веселья перебивались глубокой грустью, что в литературных кругах тогда говорили о его книжке, изданной «декадентским» издательством «Гриф», что Брюсов, всячески расхваливая «почти дебютанта», высказывал опасения, «сумеет ли он удержаться на раз достигнутой высоте и найти с нее пути вперед», вряд ли кто-нибудь догадается, о ком я говорю. И если я приведу некоторые строки, хорошо мне запомнившиеся, как, например:

Ты зачем зашумела, трава?
Напугала ль тебя тетива?
Перепелочья ль кровь горяча,
Что твоя закачалась парча? —

то разве что немногие любители поэзии или дотошные литературоведы поймут, что речь идет об А. Н. Толстом. А я хорошо помню такого Толстого...

В своей поздней автобиографии Алексей Николаевич писал о книге стихов «За синими реками»: «От нее я не отказываюсь и по сей день». Не только стихи 1911 года написаны рукой автора «Петра Первого», но и молодой поэт был уже тем самым Алексеем Николаевичем, которого многие помнят сильно пополневшим, полысевшим и, главное, научившимся одни свои черты скрывать, а другие нарочито подчеркивать. Стоит посмотреть опубликованные воспоминания людей, встречавшихся с Толстым в тридцатые годы, чтобы понять, о чем я говорю; эти воспоминания разнообразны по яркости происшествий, рассказов или шуток Толстого, но неизменно тот Алексей Николаевич, который со вкусом ест, вкусно рассказывает, вкусно смеется, а между двумя раскатами смеха говорит нечто весьма значительное, заслоняет художника.

Юрий Олеша рассказал о своей первой встрече с Толстым осенью 1918 года: «Развлекая и себя и друзей, он кого-то играет. Кого? Не Пьера ли Безухова? Может быть! А не показывает ли он нам, как должен выглядеть один из тех чудаков помещиков, о которых он пишет?» Нет, Алексей Николаевич очень часто играл (нужно признать – замечательно!) самого Алексея Николаевича – образ, созданный художником.

Когда я с ним познакомился, этот «почти дебютант» был уже известен: его рассказы о «чудаках» Заволжья сразу привлекли к нему внимание. В нем были все черты зрелого Толстого, но они еще не были оформившимися; лицо, которое впоследствии казалось созданным для рисовальщика, в молодости требовало палитры живописца. Это не обязательный закон природы: некоторые люди к вечеру жизни мягчеют, с годами сглаживается первоначальная резкость, прямолинейность, угловатость. Алексей Николаевич, напротив, был значительно мягче, если угодно, туманнее в молодости и, что наиболее существенно, не умел (или не хотел) ограждать свой внутренний мир от людей, с которыми сталкивался.

Не помню, кто меня привел к Толстому, кажется Волошин, а может быть, художник Досекин. Алексей Николаевич был в Париже в 1911 году, потом весной 1913-го; в один из этих приездов он и его жена, Софья Исааковна, жили в пансионе на улице л'Ассас. Рядом с пансионом находилось кафе «Клозери де лиля», где я сидел весь день и писал. Я познакомил Толстого с различными достопримечательностями заведения: с «принцем поэтов» Полем Формом, с итальянскими футуристами, с норвежским художником Дириксом. Во время первой мировой войны в Москве Алексей Николаевич написал очерк о Париже и там вспомнил

«Клозери де лиля»; «На левом же берегу со всей французской страстью, мужеством и великолепием нищеты поэты, прозаики и журналисты отстаивали свободу творчества, независимость и в старом кабачке, под каштанами, у памятника маршалу Нею, венчали лаврами открывателей новых путей... В том кабачке, под каштанами, вы всегда встретите в вечерний час у окна высокого, седого человека, похожего на викинга, и седую даму, когда-то прекрасную. Это – норвежский художник и его жена. Они прожили двадцать лет в Париже, каждый день бывая под каштанами».

Он любил Париж и как-то сразу его увидел. «Париж, всегда занавешенный прозрачной, голубоватой дымкой, весь серый, однообразный, с домами, похожими один на другой, с мансардами, куполами церквей и триумфальными арками, перерезанный и охваченный, точно венком, зелеными бульварами...», «Весь день неустанно живет, грохочет, колышется, по ночам заливадается светом огромный город, но не утомление вы чувствуете, пробуждая по нему весь день, а спокойную, тихую грусть. Вы чувствуете, что здесь поняли смерть и любят печальную красоту жизни...», «Стар, ужасно стар Париж. Особенно люблю его в сырые деньки. Бесчисленны очертания полукруглых графитовых крыш, откуда в туманное небо смотрят мансардные окна. А выше – трубы, трубы, трубы, дымки. Туман прозрачен, весь город раскинут чашей, будто выстроен из голубых теней...»

За несколько месяцев до своей смерти Алексей Николаевич говорил мне, что, когда кончится война, он поедет на год в Париж, поселится где-нибудь на набережной Сены и будет писать роман; помню его слова: «Париж располагает к искусству...» Чудак, который, по словам Ю. К. Олеши, играл нелепого героя «Заволжья», никогда не чувствовал себя в Париже туристом: не осматривал, не восхищался, не отплевывался, а сразу начинал жить в этом городе, бывал в нем порой очень печален, но и в печали этой счастлив. (Я не говорю о годах вынужденного пребывания в Париже, когда он неотвязно думал об оставленной им России. Я уже писал, что у эмиграции свой климат. В письме к матери, когда Толстому было четырнадцать лет, он приводил старую народную песню: «Ох, хох-хохонюшки, скучно жить Афонюшке на чужой сторонюшке без родимой матушки». В Париже, оказавшись эмигрантом, он написал рассказ «Настроения И. Н. Бурова» и эпиграфом поставил «Ох-хох-хохонюшки, скучно жить Афонюшке на чужой сторонюшке». Лучше настроение человека, насильно оторванного от родной земли, пожалуй, не выразишь).

Я хорошо знал того Толстого, которого написал П. П. Кончаловский, лицо сливается с натюрмортом, человек с бытом. Но мне хочется рассказать о другом Толстом – преданном искусству. Его слова «Париж располагает к искусству» не были случайными. Как настоящий художник, он всегда был неуверен в себе, неудовлетворен, мучительно искал форму для выражения того, что хотел сказать. Он говорил об этом часто и в зрелом возрасте. В беседах с молодыми писателями он старался пристрастить их к работе; он не находил нужным делиться со многими своей бедой, недовольством, мучительными часами, когда с удивлением и тревогой прочитывал написанное им накануне. Сколько раз он говорил мне: «Илья, понимаешь, – пишешь и кажется хорошо, а потом вижу: пакость, понимаешь – пакость!..» В начале 1941 года вышла в новом издании его повесть «Эмигранты» (в первой редакции «Черное золото»); вещь эта мне казалась неудавшейся, я о ней никогда с Толстым не говорил; он написал на книжке: «Илье Эренбургу – глубоко несовершенную и приблизительную повесть. Но, друг ты мой, важны конечные результаты жизни художника. Ты это понимаешь». Слово «приблизительно» он употреблял часто как осуждение: говорил о холсте, который ему чем-то не понравился, о строке стихотворения: «Это приблизительно...»

Он хотел было учиться живописи, но быстро это дело оставил. Когда мы познакомились, о картинах он говорил с увлечением; может быть, в этом сказывалось влияние Софьи Исааковны, которая была художницей; но Толстой обладал даром видеть природу, лица, вещи. Он водился с мастерами – краснодеревцами, литейщиками, переплетчиками, не только

знавшими свое ремесло, но влюбленными в него, обладавшими фантазией. В своей автобиографии он рассказал, какое впечатление произвели на него в молодости стихи Анри де Ренье в переводе Волошина: «Меня поразила чеканка образов». Анри де Ренье не бог весть какой поэт, но писать он умел, и поразили его Толстого именно мастерством.

Алексей Николаевич писал также, что в поисках народного характера речи он учился у А. М. Ремизова, Вячеслава Иванова, Волошина. Еще до этого – в ранней молодости – он попал в знаменитую «башню» Вячеслава Иванова. Волошин рассказал мне смешную историю, относящуюся к тому времени, когда Толстой пытался усвоить идеи и словарь символистов. В Берлине он встретил Андрея Белого, который что-то ему наговорил об антропософии. Белого вообще было трудно понять, а тем паче, когда он объяснял свою путаную веру. Вскоре после этого на «башне» зашел разговор о Блаватской, о Штейнере. Толстому захотелось показать, что он тоже не профан, и вдруг он выпалил: «Мне в Берлине говорили, будто теперь египтяне перевоплощаются...» Все засмеялись, а Толстой похолодел от ужаса. Много лет спустя я спросил Алексея Николаевича, не выдумал ли Макс историю с египтянами. Толстой рассмеялся: «Я, понимаешь, сел в лужу...»

Разговоры о перевоплощении, мистический анархизм, богоискательство, обреченность – все это никак не соответствовало натуре Толстого. Освоив несколько мастерство, натолкнувшись на свои темы, он расстался с символистами (с Волошиным он продолжал дружить); высмеял «декадентов» в рассказах, потом в трилогии. Но вот я возвращался с ним из Харькова в Москву в декабре 1943 года. Поезда тогда шли очень медленно. Мы с А. Н. Толстым заняли одно купе; в других купе ехали К. Симонов, иностранные журналисты. Толстой почти всю дорогу вспоминал прошлое; кажется, он хотел в эти два дня проделать то, что я пытаюсь сделать теперь: задуматься над своей жизнью. Неожиданно для меня он с любовью, с уважением вспоминал поэтов-символистов, говорил, что многому у них научился; вспомнил и «башню»; потом вдруг рассердился, что теперь у молодых поэтов нет ни почтения к прошлому, ни понимания всей трудности искусства; сказал, чтобы в купе позвали К. Симонова, долго ему внушал: нужно входить в дом искусства благоговейно, как он когда-то подымался на «башню». Потом он заговорил о Блоке. В романе «Сестры» есть поэт-декадент Бессонов; в нем многие, причем справедливо, увидели карикатурное изображение Блока. Толстой разъярялся, что хотел высмеять «обезьян Блока». Но слов нет, сам того не сознавая, он придал Бессонову некоторые черты Блока; в этом он мне признался; и я поверил, что сделал он это без злого умысла. Психология творчества, печальные истории, выпадавшие на долю разных писателей (достаточно вспомнить ссору Левитана с Чеховым после «Попрыгуньи»), показывают, что отдельные черты, поступки, словечки живого человека могут незаметно войти в тот сплав, который мы называем «персонажем романа»; и художник не всегда дает себе отчет, где кончаются воспоминания и начинается творчество. Мысль о том, что в Бессонове увидели некоторые черты Блока, была тяжела для Алексея Николаевича. Он мне рассказывал о встрече с Блоком во время войны, о том, что Блок был очень человечен; потом замолк, а к вечеру стал повторять отдельные строки блоковских стихов.

(Вот еще одно свидетельство – «Воспоминания» Бунина. В восемьдесят два года Бунину захотелось очернить всех писателей, правых и левых, советских и эмигрантов. Горького и А. Н. Толстого, Блока и Маяковского, Леонида Андреева и Сологуба, Бальмонта и Брюсова, Хлебникова и Пастернака, Андрея Белого и Цветаеву, Есенина и Бабея, Волошина и Кузмина. Бунин вспоминает: «Московские писатели устроили собрание для чтения и разбора „Двенадцати“, пошел и я на это собрание. Читал кто-то, не помню кто именно, сидевший рядом с Ильей Эренбургом и Толстым. И так как слава этого произведения, которое почему-то называли поэмой, очень быстро сделалась вполне неоспоримой, то, когда чтец кончил, воцарилось сперва благоговейное молчание, потом послышались негромкие восклицания: „Изумительно! Замечательно!“» Бунин далее излагает свое выступление – он поно-

сил «Двенадцать», называя поэму «дешевым, плоским трюком». «Вот тогда и закатил мне скандал Толстой; нужно было слышать, когда я кончил, каким петухом заорал он на меня...» Я вспоминаю тот вечер. Алексей Николаевич тогда во многом сомневался, по слова Бунина о поэзии Блока он назвал «кощунством»).

Стихи он часто вспоминал, и всегда неожиданно – то шагая по улице, то на дипломатическом приеме, то разговаривая о чем-то сугубо деловом, изумляя своего собеседника. Зимой 1917/18 года мы часто бывали у С. Г. Кара-Мурзы, верного и бескорыстного друга писателей; там мы ужинали, читали стихи, говорили о судьбе искусства. Возвращались мы поздно ночью ватагой. Кара-Мурза жил на Чистых прудах, а мы – кто на Поварской, кто на Пречистенке, кто в переулках Арбата. Алексей Николаевич забавлял нас нелепыми анекдотами и вдруг останавливался среди сугробов – вспоминал строку стихов то Есенина, то Н. В. Крандиевской, то Веры Инбер.

Летом 1940 года я вернулся из Парижа в Москву. Толстой позвонил: «Илья, приезжай ко мне на дачу», – дача у него была в Барвихе. (Перед этим мы долгие годы были в ссоре, даже не разговаривали друг с другом. Раз в Ленинграде в табачном магазине он меня увидел у прилавка и шепнул моей жене: «Скажите ему, что этот табак пакость. Вот какой нужно покупать...» Как я ни пытался, не могу вспомнить, почему мы поссорились. Я спросил жену Алексея Николаевича – может быть, он ей говорил о причине нашей размолвки. Людмила Ильинична ответила, что Толстой вряд ли сам помнил, что приключилось. Пожалуй, это лучше всего говорит о характере наших отношений). На даче Толстой поил меня бургундским: «А ты знаешь, что ты пьешь? Это ро-ма-нея!» Он расспрашивал о Франции; рассказ, конечно, был невеселым. Потом я читал стихи, написанные в Париже после прихода немцев. Одна строка остановила его внимание, он несколько раз повторил:

...Темное, как человек, искусство...

Он был удивительным рассказчиком; тысячи людей помнят и теперь различные истории, которые он пронес через всю жизнь: о том, как в его детстве кухарка подала суп в ночном горшке, или о дьяконе, который загонял себе в рот бильярдные шары. Слушая его, можно было подумать, что он пишет легко, а писал он мучительно, иногда работал дни напролет, исправлял, писал заново, бывало – бросал начатое: «Понимаешь, не получается. Пакость!..»

В молодости он увлекался интригой, действием, разворачивающимся неожиданно для читателя. Он иногда записывал, иногда просто запоминал историю, которую ему кто-либо рассказал; такие истории становились канвой рассказа. Вот происхождение рассказа «Миссионер» (в первоначальной редакции «И на старуху бывает проруха»). В Париже было немало случайных эмигрантов; таким был один сапожник, в 1905 году принявший участие в солдатском бунте. Звали его Осипов. Он женился на француженке, кое-как жил, но был он тем Афонюшкой, которому скучно на чужой сторонushке; человек запил. Как-то ему стало не по себе: почему его сын католик? Он пошел в русскую церковь на улице Дарю, каялся, молил священника окрестить ребенка по-православному. Священник умилился, не только выполнил обряд, но дал Осипову двадцать франков. Осипов в бога не верил, ни в католического, ни в православного, а двадцать франков пропил. Месяц спустя, когда его взяла тоска, а денег на водку не было, он решил пойти к католическому священнику, рассказал, что православные его обманули, но он может «перегнуть сына назад в католики». Эту историю я узнал от Тихона Ивановича Сорокина.

Я рассказал Алексею Николаевичу про сапожника; он долго смеялся; что-то записал в книжку. Слово «перегнуть», которое ему сразу понравилось, в рассказе осталось, но Толстой «переиграл» – герой рассказа уже не просто запойный горемыка, а ловкач, который «перегоняет» детей оптом и шантажирует автора повествования.

Алексей Николаевич неоднократно мне говорил, что порой его рассказы рождаются «черт знает от чего»: от истории, рассказанной кем-то десять лет назад, от смешного словечка. Я вспомнил наши ночные прогулки в первую зиму после революции. Толстой уверял, что я должен довести его до дому – на Молчановке, так как моего вида страшатся бандиты. (Не помню, как я был тогда одет, помню только, что Алексея Николаевича смешила шапка, похожая на клобук. Несколько лет назад мне принесли копию фотографии: Алексей Николаевич и я, подписано рукой Толстого: «Тверской бульвар, июнь 1918»). Алексей Николаевич в канотье, а на мне высочайшая шляпа мексиканского ковбоя). Толстой прозвал меня «тухлым дьяволом». Вскоре он написал рассказ «Тухлый дьявол» о писателе-мистике и козле. Писатель на меня не похож, да и шапка у него низенькая, круглая, а тухлый дьявол не писатель, но козел; все же рассказ родился в ту минуту, когда Толстой, посмотрев на меня, сказал: «Ты знаешь, Илья, кто ты? Тухлый дьявол! От тебя любой бандит убежит...»

Он работал не как архитектор, а скорее как скульптор: очень рано распрощался с планами романов или рассказов; часто, начиная, не видел дальнейшего; много раз говорил мне, что еще не знает судьбы героя, не знает даже, что приключится на следующей странице, – герои постепенно оживали, складывались, диктовали автору сюжетные линии. (Это относится к зрелому периоду Толстого).

Есть писатели-мыслители; Алексей Николаевич был писателем-художником. Очень часто человеку мучительно хочется сделать именно то, что ему несвойственно. Я помню, как Алексей Николаевич в молодости долго сидел над книгой – хотел, даря ее, надписать афоризм; ничего у него не выходило.

Он необычайно точно передавал то, что хотел, в образах, в повествовании, в картинах; а думать отвлеченно не мог: попытки вставить в рассказ или повесть нечто общее, декларативное заканчивались неудачей. Его нельзя было отделить от стихии искусства, как нельзя заставить рыбу жить вне воды. Его самые совершенные книги – «Заволжье», «Детство Никиты», «Петр Первый» – внутренне свободны, писатель в них не подчинен интриге, он повествует; особенно он силен там, где его рассказ связан с корнями, будь то собственное детство или история России, в которой он себя чувствовал легко, уверенно, как в комнатах обжитого им дома.

В своих идеях он был представителем добротной русской интеллигенции. (Это не определение рода занятий, а историческое явление; недаром в западные языки вошло русское слово «интеллигенция» в отличие от имевшегося понятия «работников умственного труда»).

Расскажу о первом столкновении Толстого с расизмом – задолго до второй мировой войны. Напротив «Клозери де лиля» помещалась огромная танцулька «Бал Билье» (теперь это здание снесли). Толстые иногда туда ходили. Раз Софью Исааковну пригласил танцевать негр; она его представила мужу. Негр Алексею Николаевичу понравился и был приглашен на обед в пансион. Среди пансионеров имелся американец; увидев, что Толстые привели в столовую черного, он возмутился. Алексей Николаевич наивно стал объяснять американцу, что этот негр весьма образованный человек, даже произвел его в князья. Американец ничего не хотел слушать: «У нас такие князья чистят ботинки». Тогда Толстой рассердился и выбросил американца по лестнице со второго этажа вниз – при плаче хозяйки, но при одобрительных возгласах других постояльцев-французов.

В 1917–1918 годы он был растерян, огорчен, иногда подавлен; не мог понять, что происходит; сидел в писательском кафе «Бом»; ходил на дежурства домового комитета; всех ругал и всех жалел, а главное – недоумевал. Иногда к нему приходил И. А. Бунин, умный, злой, и рассказывал умно, зло, но несправедливо; рассказывал, помню, как к нему пришел мужик – предупредить, что крестьяне решили сжечь его дом, а добро унести. Иван Алексе-

евич сказал ему: «Нехорошо», – тот ответил: «Да что тут хорошего... Побегу, а то без меня все заберут. Чай, я не обсевок какой-нибудь!» Толстой невесело смеялся.

Часто бывала у него петербургская поэтесса Лиза Кузьмина-Караваева; она говорила о справедливости, о человеколюбии, о боге. Дальнейшая ее судьба необычна. Уехав в Париж, она родила дочку, а потом постриглась; в монашестве приняла имя Марии. Дочка подросла и стала коммунисткой. Когда Толстой приехал в Париж, девушка попросила его помочь ей уехать в Советский Союз. Во время войны монахиня Мария стала одной из героинь Сопротивления. Немцы ее отправили в Равенсбрук. Когда очередную партию заключенных вели в газовую камеру, мать Мария стала в колонну на место молоденькой советской девушки. В зиму, о которой я рассказываю, Лиза своим глубоким беспокойством заражала Толстого.

Он видел трусость обывателей, мелочность обид, смеялся над другими, а сам не знал, что ему делать. Как-то он показал мне медную дощечку на двери – «Гр. А. Н. Толстой» – и захохотал: «Для одних граф, для других гражданин», – смеялся он над собой.

«Мадам Кошке сказала, подавая блюдо индийскому принцу: “Вот дичь”». Это он рассказывал, смеясь, за обедом. Потом, поговорив с молоденьким левым эсером, расстроился. Так рождался рассказ «Милосердия!»; Толстой впоследствии писал, что это была первая попытка высмеять либеральных интеллигентов; он не добавил, что умел смеяться и над своим смятением.

Весной 1921 года я приехал в Париж. Толстой позвал на меня гостей: Бунина, Тэффи, Зайцева. Толстой и его жена Н. В. Крандиевская мне обрадовались. Бунин был непримирим, прервал мои рассказы о Москве заявлением, что он может теперь разговаривать только с людьми своего звания, и ушел. Тэффи пыталась шутить. Зайцев молчал. Алексей Николаевич был растерян: «Понимаешь, ничего нельзя понять...» Вскоре после этого французская полиция выслала меня из Парижа.

Потом я встретил Алексея Николаевича в Берлине; он уже знал, что скоро вернется в Россию. В статьях о нем пишут про сменовеховцев, про «постепенный подход» к идеям революции. Мне кажется, что дело было и проще и сложнее. Две страсти жили в этом человеке: любовь к своему народу и любовь к искусству. Он скорее почувствовал, чем логически понял, что писать вне России не сможет. А любовь к народу была такова, что он рассорился не только со своими друзьями, но и со многим в самом себе – поверил в народ и поверил, что все должно идти так, как пошло.

Двадцать лет спустя я часто встречался с ним в очень трудное время, когда мало было одного сознания, требовались любовь и вера. Говорили, будто от уныния его всегда ограждал природный оптимизм; нет, и в 1913 году, и в 1918-м я видел Алексея Николаевича не только унылым, но порой отчаявшимся (это, конечно, не мешало ему шутить, смеяться, придумывать комические истории). А вот в грозное лето 1942 года он сохранял душевную бодрость: он твердо стоял на своей земле, был освобожден от того, что особенно претило его натуре, – от сомнений, от необходимости искать выход, от ощущения одиночества.

В декабре 1943 года мы были с ним в Харькове, на процессе военных преступников. Я не пошел на площадь, где должны были повесить осужденных. Толстой сказал, что должен присутствовать, не смеет от этого уклониться. Пришел он с казни мрачнее мрачного; долго молчал, а потом стал говорить. Что он говорил? Да то, что может сказать писатель; то самое, что до него говорили и Тургенев, и Гюго, и русский поэт К. Случевский...

В последние годы его тянуло к друзьям прошлого. Часто встречался он с Алексеем Алексеевичем Игнатьевым и его женой Натальей Владимировной. Об Игнатьеве я расскажу, когда дойдет дело до первой мировой войны. Толстой его любил: в чем-то у них были сходные пути – оба пришли к революции из другой, прежней России. Бывали у Толстого В. Г. Лидин, П. П. Кончаловский, доктор В. С. Галкин, С. М. Михоэлс. Толстой ожесточенно работал над третьей частью «Петра Первого». Осенью 1944 года он был уже болен; я пришел к

нему, он хмурился, старался шутить и вдруг как бы ожил – заговорил о своей работе: «Пятую главу кончил... Петр у меня опять живой...» Он боролся со смертью мужественно, и помогла ему не столько его живучесть, сколько страсть художника.

На Спиридоновке был прием в День Красной Армии. Все были в хорошем настроении: приближалась развязка. Вдруг по залам пронеслось: «Умер Толстой...» Мы знали, что он очень тяжело болен, и все же это показалось нелепостью – несправедливым, бессмысленным, ужасным.

Он мне как-то сказал: «Илья, ты должен быть мне признателен по гроб – я тебя научил курить трубку...» Я думаю о нем действительно с глубокой признательностью. Ничему он меня не научил – вот только что курить трубку... Был он на девять лет старше меня, но никогда я не воспринимал его как старшего. Он меня не учил, но радовал – своим искусством, своей душевной тонкостью, скрываемой часто веселой маской, своим аппетитом к жизни, верностью друзьям, народу, искусству. Он сформировался до революции и нашел в себе силы перешагнуть в другой век, был с Россией в 1941 году. Глядя на его большую, тяжелую голову, я всегда чувствовал: этот все помнит, но память его не придавила. Я ему признателен за то, что мы встретились в глухое, спокойное время, в 1911 году, и что я был у него на даче, когда он 10 января 1945 года, больной, справлял свой день рождения – за шесть недель до смерти; признателен за то, что в течение тридцати пяти лет я знал, что он живет, чертыхается, хохочет и пишет – с утра до ночи пишет, и так пишет, что читаешь, и порой дыхание захватывает от совершенства слова.

21

Есть распространенный образ башни из слоновой кости, которую облюбовали поэты и художники, пожелавшие уйти от действительности. В этой башне я никогда не был и не знаю, существовала ли она. Не был я и в той «башне» (вернее, на чердаке), где жил поэт В. И. Иванов и куда ходил молодой Алексей Толстой. Нас было человек сто, поэтов и художников, которые ненавидели существующее общество; французы, русские, испанцы, итальянцы, люди других национальностей, все чрезвычайно бедные, плохо одетые, голодные, но упрямые в своем желании создать новое, настоящее искусство. Мы жили в душном, полутемном кафе, и оно никак не походило на башню из слоновой кости.

В конце 1924 года Маяковский писал:

Париж
фиолетовый,
Париж в анилине,
вставал
за окном «Ротонды».

Маяковский увидал «Ротонду», которую осматривали туристы, как достопримечательность – не паршивое, вонючее кафе, а памятник старины, отремонтированный, расширенный, заново выкрашенный. Иностранцы приходили и слушали объяснения гидов: «За этим столиком обычно сидели Гийом Аполлинер и Пикассо... Вот в том углу Модильяни рисовал присутствовавших и отдавал за рюмку коньяку рисунок...»

Теперь и туристов водить некуда: вместо «Ротонды» построили кинотеатр. Только в киностудиях иногда восстанавливают бутафорскую «Ротонду»: изготавливают фильмы о бурной и загадочной жизни «последних представителей богемы». Картины получаются вздорные даже не потому, что герои не напоминают прототипов, а потому, что у постановщиков нет ключа к тем мыслям и чувствам, которые воодушевляли посетителей «Ротонды».

Кафе напоминало сотни других. У цинковой стойки извозчики, шоферы такси, служащие пили кофе или аперитивы. Позади была темная комната, прокуренная раз и навсегда, десять-двенадцать столиков. Вечером эта комната заполнялась; стоял крик: спорили о живописи, декламировали стихи, обсуждали, где достать пять франков, ссорились, мирились; кто-нибудь напивался, его вытаскивали. В два часа ночи «Ротонда» закрывалась на один час; иногда хозяин разрешал завсегдатаям, если они вели себя пристойно, просидеть часок в темном пустом помещении – это было нарушением полицейских правил; в три часа кафе открывалось, и можно было продолжать невеселые разговоры.

Владелец кафе Либион не мог представить себе, что его имя попадет в историю живописи. Это был добродушный толстый кабатчик, который купил небольшое кафе; случайно «Ротонда» стала генеральным штабом разноязычных чудаков, или, как говорил Макс Волошин, «обормотов», поэтов и художников, из которых некоторые впоследствии стали знаменитыми. Будучи обыкновенным средним буржуа, Либион вначале косо поглядывал на весьма странных клиентов; кажется, он принимал нас за анархистов. Потом он к нам привык, даже полюбил нас. Кто-то сказал ему, что некоторые люди разбогатели на живописи: покупали за гроши картины у никому не известных художников, а двадцать лет спустя продавали их за большие деньги. Идея такого заработка не очень соблазняла Либиона; как-то он сказал мне, что не любит азартных игр, а покупать картины – это лотерея: хорошо, если из тысячи художников один выйдет в люди. Он предпочитал зарабатывать на напитках. Конечно, порой он брал рисунок Модильяни за десять франков – ведь блюдец гора,

а у бедняги нет ни одного су... Иногда Либион совал пять франков поэту или художнику, сердито говорил: «Найди себе бабу, а то у тебя глаза сумасшедшие...» На его нижней губе неизменно красовался окурок погасшей сигареты. Ходил он по большей части без пиджака, но в жилетке.

Однажды, когда я сидел в «Ротонде», художница Мямлина попросила меня поддержать ее грудного ребенка – ей нужно купить напротив сигареты. Прошло полчаса, прошел час – Мямлиной не было. Младенец начал кричать. Подошел Либион, выслушал меня и явно не поверил: «Знаю я вас – изготавливаете ребят, а потом от них отрещиваетесь. Ладно, неси его ко мне – у меня там старая женщина, она тебе поможет. Хорошо папаша!..» Либион жил рядом с «Ротондой»; квартира была мещанской: красные портьеры, на стене красивенький пейзаж. Никогда бы он не повесил у себя Модильяни или Сутина. Боже упаси! Он привязался к своим клиентам, но не к их произведениям...

После Февральской революции в «Ротонду» как-то пришли русские солдаты из бригады, которую царское правительство направило на Западный фронт: им сказали, что здесь они смогут разыскать русских эмигрантов. Солдаты требовали, чтобы их отправили в Россию. Полиция начала придирается к Либиону; говорили, будто «Ротонда» – главная квартира революционеров; запретили посещение этого кафе военными; Либиону нанесли серьезные убытки; ко всему он испугался: время было скверное, Клемансо решил закрутить гайки покрепче, полиция бесчинствовала. Повздыхав, побряхтев, Либион продал «Ротонду» другому кабатчику, а сам купил небольшое кафе в спокойном месте – подальше от художников. Но тогда-то он понял, что обыкновенные посетители ему не интересны. Иногда он приходил в «Ротонду», садился в темный угол, заказывал стакан пива и тоскливо глядел по сторонам. Несколько лет спустя он умер; хоронить его пришли художники, поэты; некоторые стали к тому времени известными, и Либион, как многие его клиенты, узнал посмертную славу.

Мой первый роман начинается с точной справки: «Я сидел, как всегда, в кафе на бульваре Монпарнас перед пустой чашкой и ждал, что кто-нибудь освободит меня и заплатит шесть су терпеливому официанту». Затем я рассказываю, что в кафе, вошел Хулио Хуренито, которого я принял за черта; это, конечно, вымысел. Я встретил в «Ротонде» людей, сыгравших крупную роль в моей жизни, но ни одного из них я не принял за черта – мы все тогда были и чертями и мучениками, которых черти жарят на сковородке. В театры мы ходили редко, не только потому, что у нас не было денег, – нам приходилось самим играть в длинной запутанной пьесе; не знаю, как ее назвать – фарсом, трагедией или цирковым обозрением; может быть, лучше всего к ней подойдет определение, придуманное Маяковским, – «мистерия-буфф».

Конечно, внешне «Ротонда» выглядела достаточно живописно: и смесь племен, и голод, и споры, и отверженность (признание современников пришло, как всегда, с опозданием). Именно эта живописность прельщает кинопостановщиков. Когда случайный посетитель, шофер или банковский служащий, выпив у стойки кофе с рюмочкой, заглядывал в мрачную комнату, он изумленно улыбался или, возмущенный, отворачивался: публика была необычайной даже для привыкших ко всему парижан.

Поражала прежде всего пестрота типов, языков – не то павильон международной выставки, не то черновая репетиция предстоящих конгрессов мира. Многие имена я забыл, но некоторые помню; одни из них стали известны всем, другие померкли. Вот далеко не полный список. Французские поэты Гийом Аполлинер, Макс Жакоб, Блез Сандрар, Кокто, Сальмон, художники Леже, Вламинк, Андре Лот, Метценже, Глез, Карно, Рамэ, Шанталь, критик Эли Фор; испанцы Пикассо, Хуан Грис, Мария Бланшар, журналист Корпус Варга; итальянцы Модильяни, Северини; мексиканцы Диего Ривера, Саррага; русские художники Шагал, Сутин, Ларионов, Гончарова, Штеренберг, Кремень, Федер, Фотинский, Маревна, Издебский, Дилевский, скульпторы Архипенко, Цадкин, Мещанинов, Инден-

баум, Орлова; поляки Кислинг, Маркусси, Готтлиб, Зак, скульпторы Дуниковский, Липшиц; японцы Фужита и Кавашима; норвежский художник Пер Крог; датские скульпторы Якобсен и Фишер; болгарин Паскин. Вспомнить трудно – наверно, я много имен пропустил.

Внешность посетителей также должна была удивлять несведущих. Никто, например, не может достоверно описать, как был одет Модильяни; в хорошие периоды на нем была куртка из светлого бархата, на шее красный фуляр; когда же он долго пил, нищенствовал, хворал, он был обмотан в яркое тряпье. Японский художник Фужита прогуливался в домо-таном кимоно. Диего Ривера потрясал лепной мексиканской палкой. Его подруга, художница Маревна (Воробьева-Стебельская), любила пестро одеваться, голос у нее был громкий, пронзительный. Поэт Макс Жакоб жил на другом конце Парижа – на Монмартре; он приходил днем в вечернем костюме, блистала белоснежная манишка; в глазу всегда был монокль. Индеец с перьями на голове показывал всем свои настели. Негритянка Айша, откидывая назад большую голову, покрытую черно-синими жесткими кудряшками, бурно хохотала, в полумраке сверкали ее зубы. Скульптор Цадкин появлялся в рабочей спецовке, его сопровождал огромный датский дог, славившийся крутым нравом. Натурщица Марго по привычке раздевалась; однажды она мне сказала, что ее мечта – стать королевой; я удивился, она объяснила: «Дурачок! Ведь королеву каждому хочется изнасиловать...» Неизменно в самом темном углу сидели Кремень и Сутин. У Сутина был вид перепуганный и сонный; казалось, его только что разбудили, он не успел помыться, побриться; у него были глаза затравленного зверя, может быть, от голода. Никто на него не обращал внимания. Можно ли было себе представить, что о работах этого тщедушного подростка, уроженца белорусского местечка Смиловичи, будут мечтать музеи всего мира?..

Помню, как Давид Петрович Штеренберг привел в «Ротонду» А. В. Луначарского. Я сидел с ними за одним столиком. Луначарский хвалил рисунки Стейнлена, говорил, что Франц Штук – художник упадочный, но интересный. Я не соглашался, Стейнлен мне казался незначительным, а Штук – дурным и безвкусным декадентом, но мне было с Анатолием Васильевичем уютно: я почувствовал себя в Москве. Когда он ушел, Либион сказал мне: «Я не думал, что у тебя есть порядочные знакомства. Этот господин – твой земляк? Он может тебе помочь стать на ноги...»

Рассказывая о живописности посетителей «Ротонды», я должен признаться, что не отставал от других. Еще в период «Клозери де лиля» я выглядел несуразно. С. И. Толстая вспоминает, что Алексей Николаевич послал открытку в кафе, поставив вместо моей фамилии: «Au monsieur mal coiffe» – «Плохо причесанному господину», – и открытку передали именно мне. А в «Ротонде» я совсем обосаялся. Волошин в газетной статье 1916 года описывал «болезненного, плохо выбритого человека с очень длинными и очень прямыми волосами, спадающими несуразными космами, в широкополой фетровой шляпе, стоящей торчком, как средневековый колпак, сгорбленного, – с плечами и ногами, ввернутыми внутрь». Макс уверял, что мое «появление в других кварталах Парижа вызывает смуту и волнение прохожих. Такое впечатление должны были производить древние цинические философы на улицах Афин и христианские отшельники на улицах Александрии».

Завсегдатаи «Ротонды» были неизвестны за ее пределами. Но Пикассо уже знали, о нем иногда писали в газетах; Либиону рассказали, что картины Пабло покупает «русский князь Шукэн» (Щукин), и он почтительно здоровался: «Добрый день, господин Пикассо!»

Пабло жил на Монмартре, потом перебрался на Монпарнас, снял мастерскую недалеко от «Ротонды». Я никогда не видал его пьяным. Он выглядел юношей; любил проказничать. Однажды он пришел с Диего, рассказал, что они исполнили серенаду под окнами Гийома Аполлинера: «Mère de Guillaume Apollinaire». В переводе это означает «мать Аполлинера», но по-французски звучит не вполне благозвучно.

Жизнь в «Ротонде» была, скорее, однообразной; порой приключались события, о которых несколько дней говорили. Кислинг и Готтлиб дрались на дуэли, одним из секундантов был Диего; о дуэли пронюхали журналисты, и на один день все газеты занялись «Ротондой». Среди посетителей кафе было много скандинавов; Либион для них выписывал иностранные газеты. Шведы пили больше всех, это были идеальные клиенты. Помню, рядом со мной сидел художник-швед; он то и дело заказывал двойную порцию коньяка; на столике красовался столб блюдец. Коньяк не мешал шведу внимательно читать «Свенска дагблад»; газета закрывала его лицо. Вдруг газета упала – оказалось, что швед умер. Пришла полиция; мы молча отправились по домам. Однажды испанец, огромный детина, разъярился, схватил мраморный столик за ножку и начал им размахивать, кричал, что сейчас перебьет всех – ему опротивела жизнь. Мы отступили к стойке. У Либиона был твердый принцип: никогда не звать полицию. Испанец неожиданно улыбнулся, поставил столик на место и сказал: «А теперь можно выпить за жизнь номер два...»

При всем этом «Ротонда» была не притоном, а кафе; там владельцы картинных галерей назначали свидания художникам, ирландцы обсуждали, как им покончить с англичанами, шахматисты разыгрывали длиннейшие партии. Среди последних помню Антонова-Овсенко; перед каждым ходом он приговаривал: «Нет, на этом вы меня не поймаете, я стреляный...»

В конце 1914 года из Италии приезжал в Париж брат Модильяни – социалист, депутат парламента. Эммануэле Модильяни был против вступления Италии в войну; в «Ротонде» он назначил свидание Ю. О. Мартову и П. Л. Лапинскому. Говорили, что он очень огорчился, увидав своего брата в безумном состоянии, и приписал это дурным знакомствам, «Ротонде».

Между тем «Ротонда» не могла никого лишить душевного спокойствия, она просто притягивала к себе людей, спокойствия лишенных. Журналисты не знали, о чем мы беседуем; порой они описывали драки, попойки, самоубийства. Дурная слава «Ротонды» росла. Во время войны я увидел за соседним столиком молодую скромную женщину, по ее виду было ясно, что она попала на Монпарнас случайно. Она робко заговорила со мной; оказалось, она модистка, приехала на один день в Париж из Пуатье и захотела познакомиться с жизнью художников. Я ей объяснил, что я не художник, а русский поэт. Это ей показалось еще более романтичным. Она меня проводила до гостиницы и попросила разрешения посмотреть, как я живу. Мои мысли были заняты художницей Шанталь, и я сухо сказал, что должен работать. «Вы работайте, а я тихонько посижу...» Она ужаснулась беспорядку в моей комнате, все прибрала; достала из шкафа рваные носки, заштопала, пришила пуговицы к рубашкам и ушла довольная – познакомилась с бытом богемы. А я сидел в холодной комнате и сочинял стихи:

В колбасной дремали головы свиньи,
Бледные, как дамы,
Из недвижных глаз сочилось уныние
На плачущий мрамор.
Если хотите, и подарю вам фаршированного борова
Или бонбоньерку с видами Реймского собора...

Я рассказываю о «Ротонде», и невольно вспоминаются анекдотические эпизоды; между тем все было куда печальней и куда серьезней. Модильяни по вечерам рисовал в кафе портреты, рисовал на почтовой бумаге, иногда двадцать рисунков подряд. Но ведь не поэтому он стал Модильяни. Работали мы не в «Ротонде», а в нетопленных мастерских, на чердаках, в грязных меблирашках, именуемых гостиницами. Мы приходили в «Ротонду» потому, что нас влекло друг к другу. Не скандалы нас привлекали; мы даже не вдохновлялись

смелыми эстетическими теориями; мы просто тянулись друг к другу: нас роднило ощущение общего неблагополучия.

Я напишу о Пикассо, Модильяни, Леже, Ривере. Сейчас мне хочется забежать вперед, понять, что тогда приключилось с нами и с тем искусством, которым мы жили.

Итальянские футуристы предлагали сжечь музеи. Модильяни отказывался подписать их манифест, он не скрывал любви к старым мастерам Тосканы. Пикассо с восхищением говорил то о Греко, то о Гойе, то о Веласкесе. Макс Жакоб мне читал стихи Рютбефа. Никто из нас не отрицал старого искусства; но часто мы мучительно думали, нужно ли теперь искусство, хотя без него не могли прожить и дня.

В «Ротонде» собирались не адепты определенного направления, не пропагандисты очередного «изма»; нет ничего общего между сухим и бескрасочным кубизмом, которым увлекался тогда Ривера, и лирической живописью Модильяни, между Леже и Сутиным. Потом искусствоведы придумали этикетку «парижская школа»; пожалуй, вернее сказать – страшная школа жизни, а ее мы узнали в Париже.

Революция, которую произвели импрессионисты, а потом Сезанн, ограничивалась живописью. Мане был в жизни не бунтовщиком, а светским человеком. Сезанн видел только природу, холст, краски. Когда во время дела Дрейфуса Франция кипела, он недоумевал, как может его былой товарищ Золя интересоваться подобными пустяками. Мятеж художников и связанных с ними поэтов в годы, предшествовавшие первой мировой войне, носил другой характер, он был направлен не только против эстетических канонов, но и против общества, в котором мы жили, «Ротонда» напоминала не вертеп, а сейсмическую станцию, где люди отмечают толчки, неосязаемые для других. В общем, французская полиция уж не так ошибалась, считая «Ротонду» местом, опасным для общественного спокойствия...

Как то бывает всегда, одни из участников бунта потом отошли или в изменившейся обстановке потускнели, исчезли из виду, другие – Модильяни, Гийом Аполлинер – рано умерли, третьи пронесли исступление тех лет через всю свою жизнь, их биография шла в ногу с историей века.

Самое трудное для писателя – придумать заглавие книги; обычно заглавия или претенциозны, или носят чересчур общий характер. Но заглавием «Стихи о канунах» я доволен куда больше, чем самими стихами. Годы, о которых я теперь пишу, были действительно канунами. О них многие говорят как об эпилоге. Есть белые ночи, когда трудно определить происхождение света, вызывающего волнение, беспокойство, мешающего уснуть, благоприютствующего влюбленным, – вечерняя это заря или утренняя? Смещение света в природе длится недолго – полчаса, час. А история не торопится. Я вырос в сочетании двойного света и прожил в нем всю жизнь – до старости...

22

Не знаю почему, в ту пору я больше дружил с художниками, чем с поэтами. Может быть, потому, что язык живописи интернационален, а может быть, просто потому, что художники больше часов просиживали в «Ротонде».

В начале 1914 года кто-то из художников подозвал меня к столику в темном углу «Ротонды»: «Я тебя познакомлю с Аполлинером». Я тогда увлекался этим поэтом, пробовал перевести несколько его стихотворений. Вот начало одного:

Долина осенью пышна, но ядовита,
И медленно бредут по ней коровы,
Вбирая темный и тягучий яд.
От крокусов долины той лиловой,
Как крокус, пышен и лилов твой взгляд,
И в жизнь мою из глаз твоих струится
Такой же медленный и страшный яд...

Легко догадаться, как я волновался. Я ничего не мог выговорить, и даже не следил за беседой, а на Аполлинера глядел, видимо, с таким восхищением, что он, смеясь, сказал: «Я не красивая девушка, а мужчина средних лет». Он не походил на завсегдатаев «Ротонды», ничего не было экзотичного в одежде или в поведении, говорил громко, смеялся и, хотя он был поляком Вильгельмом Костровицким, который родился в Риме, походил на добродушного фламандца. Была в нем восторженность, которую потом я увидел, пожалуй, только у чешского поэта Незвала.

Несколько раз я встречал его в «Ротонде». Он любил пошутить, однажды предложил нам написать мистерию о змее, яблоке и Пикассо. Пабло, как суеверный испанец, не мог спокойно слушать слово «змея» и делал под столом магические знаки, чтобы отогнать беду.

Стихи Аполлинера мне казались чересчур гармоничными, я его перевел в классики и жаловался Диего Ривере: «Аполлинер – это Гюго, Пушкин. Он пишет: “Сладкий Пан, любовь и Христос умерли. Кошки мяукают тоскливо. И я не в силах сдержать своих слез”». Диего отвечал: «Это потому, что Аполлинер – француз, то есть он поляк, но пишет по-французски...» (Я не раз давал себе слово – не написать ни одной строки по-французски и выполнил это). А к стихам Аполлинера я был несправедлив: он был не только большим поэтом, но и человеком нового века, чуть припудренным серебряной пылью древних европейских дорог.

В начале войны он пошел добровольцем на фронт; сначала прославлял войну, потом увидел ужас окопной жизни и написал об этом. Весной 1916 года снаряд разорвался возле окопа, осколок пробил шлем, и Аполлинер был тяжело ранен в голову. Сильные головные боли и паралич левой части тела потребовали трепанации черепа. Здоровье Аполлинера было подорвано, и в ноябре 1918 года, за два дня до конца войны, он умер от «испанки» – злостной формы гриппа.

Когда я начал работать над воспоминаниями, мне принесли из библиотеки связку книг о поэтах первой четверти века, среди них оказалась книга писем поэта Макса Жакоба. В 1915 году он писал Гийому Аполлинеру, старшине артиллерийской бригады: «У нас довольно крупный русский поэт Илья Эренбург; он перевел мне свои стихи. Он считает себя учеником Жамма, но он больше напоминает тебя или Гейне. У него в стихах нечто вроде Страшного суда: идут за стариком, который сидит в кафе, – разве вы не знаете, что пришел Страшный суд? Нужно идти! А старик отвечает: “Что там? Страшный суд? Не могу – меня к ужину»

ждут...» Не все его стихи достигают подобной силы, но хотелось бы побольше поэтов, таких сильных, как этот человек...» Макс Жакобу я тогда казался сильным, но это была сила отрицания, сам я часто думал о своей слабости.

Макс Жакоб сказал, что хочет перевести несколько моих стихотворений на французский язык. Работали мы у него; он жил на Монмартре, в маленькой комнате. По-прежнему он приходил в «Ротонду» чрезвычайно элегантным, а возвращаясь домой, снимал выходной костюм, аккуратно складывал его в сундук и облачался в замызганную курточку.

(В конце 1917 года в Москве я получил письмо от Макса Жакоба; он сообщал, что переводы моих стихов читали на вечере современной поэзии в «Осеннем салоне». Я не ответил – мы жили в разных мирах...) Были у Макса Жакоба некоторые черты, сближавшие его с другим Максом – Волошиным: оба, помимо поэзии, занимались живописью, оба обожали игру, дурачества, мистификацию. Когда Макс Жакоб попал под машину и «скорая помощь» отвезла его в госпиталь, он умолял, чтобы врачи предупредили его дочь, хотя никакой дочери у него не было. Он принял католичество: уверял, что к нему являлись Христос и Мария. Не знаю, что было от веры, что от игры. Он мне вполне серьезно рассказывал, что Богоматерь, явившись к нему, сказала (на арг): «Макс, ты паскудный...» Крестным отцом был Пикассо.

Подлинной страстью Макса Жакоба было искусство; он писал стихи нежные и насмешливые, то обличал самодовольных буржуа, то по-детски исповедовался, предвидел взлет физики, астрономии, обладал необыкновенным воображением и чувствительностью, которая позволяла ему многое предугадать: писал, что министры и эстеты ведут абстрактные разговоры о чистом искусстве, о величии Франции, а над ними оловянное небо, изрезанное молниями.

Много лет он прожил в аббатстве на Луаре; там его застала вторая мировая война. Вскоре Макс Жакобу пришлось надеть на себя желтую звезду – он был евреем. Он писал друзьям печальные письма: знал, что ему предстоит. Однажды к нему приехал Поль Элюар, участник Сопротивления: он хотел рассказать Жакобу, чем молодая поэзия Франции ему обязана.

В январе 1945 года парижское радио передало, что немцы убили Макса Жакоба. Потом я узнал подробности его смерти. В начале 1944 года немцы увезли Макса на пересыльный пункт Дранси. Оттуда евреев отправляли в Освенцим (там погибли все родственники Жакоба). Макс Жакобу было шестьдесят восемь лет; он заболел и умер в Дранси; спасшиеся рассказывали, что умирал он достойно, стараясь приподнять и пригреть других.

23

Редко я беседовал с Модильяни без того, чтобы он не прочитал мне несколько терцин из «Божественной комедии»: Данте был его любимым поэтом. В «Стихах о канунах» есть стихотворение, помеченное апрелем 1915 года:

Ты сидел на низенькой лестнице,
Модильяни.
Крики твои – буревестника...
А масляный свет приспущенной лампы,
А жарких волос синева!
И вдруг я услышал: страшного Данта
Загудели, расплескались темные слова...

Данте не только грозен; я вспоминаю строки из «Чистилища»; поэт и его спутник, поднявшись в гору, присели и тихо смотрят на пройденный путь. Мне хочется посидеть сейчас с живым Модильяни (с Моды – так называли его друзья). Из него сделали героя ходкого фильма, написали о нем несколько пошлых романов. Разве постановщик фильма мог спокойно посидеть на каменной ступеньке и задуматься над петлями чужой для него дороги?..

Так создалась легенда о голодном, беспутном, вечно пьяном художнике, о последнем представителе богемы, который в редкие часы между двумя попойками писал своеобразные портреты, умер в нищете, а после смерти стал знаменитым.

Все здесь правда, и все ложь. Правда, что Модильяни голодал, пил, глотал зернышки гашиша; но объяснялось это не любовью к распутству или к «искусственному раю». Ему вовсе не хотелось голодать, он ел всегда с аппетитом, он и не искал мученичества. Может быть, больше других он был создан для счастья. Он был привязан к сладкой итальянской речи, к мягкому пейзажу Тосканы, к искусству ее старых мастеров. Он не начал с гашиша... Конечно, он мог бы писать портреты, которые нравились бы и критикам и заказчикам; у него были бы деньги, хорошая мастерская, признание. Но Модильяни не умел ни лгать, ни приспособливаться; все встречавшиеся с ним знают, что он был очень прямым и гордым.

Я видел его в тяжелые дни и в дни просветов; видел спокойным, чрезвычайно вежливым, гладко выбритым, с бледным, чуть голубоватым лицом, с мягкими, ласковыми глазами; видел и неистового, обросшего черной щетиной – этот Модильяни пронзительно вскрикивал, как птица; может быть, как альбатрос; я ведь в стихах припомнил буревестника не ради аллегории.

(Модильяни любил стихотворение Бодлера об альбатросе, над которым потешаются матросы, – «крылатый путник жалок на земле...»).

Я сказал, что он был красив; женщины на него заглядывались; красота его мне всегда казалась итальянской. Он был, однако, сефардом – так называют потомков евреев, которые после изгнания из Испании поселились в Провансе, в Италии, на Балканах.

Как-то я зашел с Модильяни в кафе на бульваре Пастер; он перед этим работал, был спокоен. За соседним столиком почтенные люди играли в карты. Я переписывал стихи, которые мне показал Моды, и ничего не слышал. Вдруг Модильяни вскочил: «Заткни глотку! Я – еврей, и я могу с тобой поговорить. Понимаешь?..» Картежники молчали. Модильяни заплатил за кофе и громко сказал: «Жаль, что мы залезли в это кафе, сюда ходят свиньи...» Когда мы вышли, я спросил, что же говорили за соседним столиком. «То самое, – ответил Моды. – Обидно, что мажешь кистью, – ведь еще триста лет придется бить морду...»

Он мне рассказывал, что его дедушка был римлянином, хотел разводить лозу и купил маленький участок; но по закону евреям было запрещено владеть землей; рассердившись, дед перебрался в Ливорно, где с давних пор проживало много еврейских семейств. Модильяни прочитал мне итальянские сонеты Иммануила Римского, еврейского поэта XIV столетия, — издевательские, горькие и полные в то же время восхищения жизнью. Модильяни мне рассказал, как некогда римляне праздновали карнавал: еврейская община обязана была поставлять еврея-рысака, который раздевался догола и под улюлюканье веселящейся толпы, эпископов, послов, дам трижды рысью обегал город. (Я тогда написал об этом поэму).

Познакомился я с Модильяни в 1912 году; он уже был старым парижанином. При одной из первых встреч он нарисовал мой портрет; все нашли его очень похожим. Потом он часто меня рисовал; у меня была папка с его рисунками. (Летом 1917 года я с группой политических эмигрантов возвращался в Россию. В Англии нам объявили, что нельзя вывозить ни рукописей, ни рисунков, ни картин, ни даже книг. Я отобрал то ценное, что у меня было, — натюрморт Пикассо, «Эду» Баратынского с его надписью, рисунки Модильяни — и оставил чемоданчик на временное хранение в посольстве Временного правительства. Правительство действительно оказалось временным, а чемодан пропал навсегда).

Комната, где живет Анна Андреевна Ахматова, в старом доме Ленинграда, маленькая, строгая, голая; только на одной стене висит портрет молодой Ахматовой — рисунок Модильяни. Анна Андреевна рассказывала мне, как она в Париже познакомилась с молодым чрезвычайно скромным итальянским юношей, который попросил разрешения ее нарисовать. Это было в 1911 году. Ахматова еще не была Ахматовой, да и Модильяни еще не был Модильяни. Но в рисунке (хотя по манере он отличается от более поздних рисунков Модильяни) уже видны точность линий, их легкость, поэтическая убедительность.

Герой фильма и романов — это Модильяни в минуту отчаяния, безумия. Но ведь Модильяни не только пил в «Ротонде», не только рисовал на бумаге, залитой кофе, он проводил дни, месяцы, годы перед мольбертом, писал маслом ню и портреты.

Меня всегда удивляла его начитанность. Кажется, я не встречал другого художника, который так любил бы поэзию. Он читал на память и Данте, и Вийона, и Леопарди, и Бодлера, и Рембо. Его холсты не случайные видения — это мир, осознанный художником, обладавшим необычайным сочетанием детскости и мудрости. Когда я говорю «детскость», я, конечно, не думаю об инфантильности, о естественном неумении или нарочитом примитивизме; под детскостью я понимаю свежесть восприятия, непосредственность, внутреннюю чистоту. Все его портреты похожи на модели — сужу по тем, которых я знал, — Зборовского, Пикассо, Диего Риверу, Макса Жакоба, английской писательницы Беатрис Хестингс, Сутина, поэта Франса Элленса, Дилевского, наконец, жены Модильяни — Жанны. Он никогда не увлекался аксессуарами или чем-либо внешним; его холсты раскрывают природу человека. Диего Ривера, например, грузин, почти дик; Сутин хранит трагическое выражение непонимания, постоянную тоску о самоубийстве. Но удивительно, что различные модели Модильяни схожи между собой; их объединяет не затверженная манера, не внешние приемы письма, а мироощущение художника. Зборовский, с его лицом доброй лохматой овчарки, растерянный Сутин, нежная Жанна в рубашке, девочка, старик, натурщица, какой-то усач — все они похожи на обиженных детей, хотя у некоторых бороды или седые волосы. Мне кажется, что жизнь представлялась Модильяни огромным детским садом, устроенным очень злыми взрослыми.

Конечно, в легенде есть правда, и легко понять, что биография Модильяни может прельстить сценариста. Недавно я прочитал в газете, что небольшой портрет работы Модильяни был продан на аукционе в Америке за сто тысяч долларов. За всю свою жизнь Модильяни не израсходовал и четверти этой суммы. Сколько раз я видел, как старая Розали, владелица крохотной итальянской харчевни на улице Кампань-Премьер, получала от Модильяни рису-

нок за кусок мяса или за порцию макарон; она не хотела брать, но он настаивал – он не нищий; и Розали, глядя на листочки бумаги, испещренные тонкими разорванными линиями, горестно вздыхала: «Бог ты мой...» Правда и то, что его не понимали даже просвещенные ценители живописи. Для тех, кому нравились импрессионисты, Модильяни был несносен равнодушием к свету, четкостью рисунка, произвольным искажением натуры. Все говорили о кубизме; художники, порой одержимые идеей разрушения, были в то же время инженерами, архитекторами, конструкторами; а для любителей кубистических полотен Модильяни был анахронизмом. Биографы отмечают, что 1914 год был для Модильяни удачным: он нашел торговца картинами Зборовского, который сразу понял и полюбил его работы. Но Зборовский сам был неудачником: молодой польский поэт приехал в Париж, мечтал о рейсе на волшебную Цитеру и оказался на мели – перед чашкой кофе в «Ротонде». Денег у него не было; он жил с женой в маленькой квартире; Модильяни там часто работал. А Зборовский брал под мышку его холсты и с утра до ночи рыскал по Парижу, тщетно пытаясь соблазнить работами итальянского художника настоящих торговцев картинами.

Правда, наконец, то, что Модильяни порой овладевали беспокойство, ужас, гнев. Помню ночь в захлавленной мастерской; было много народу – и Диего Ривера, и Волошин, и натурщицы. Модильяни был очень возбужден. Его подруга Беатрис Хестингс говорила с резко выраженным английским акцентом: «Модильяни, не забывайте, что вы джентльмен, ваша мать – дама высшего общества...» Эти слова действовали на Моди, как заклинание; он долго сидел молча; потом не выдержал и начал ломать стену; расковырял штукатурку, пробовал вытащить кирпичи. Его пальцы были в крови, а в глазах было такое отчаяние, что я не выдержал и вышел на грязный двор, заваленный обломками скульптуры, битой посудой, пустыми ящиками.

В годы войны он часто приходил вечером в столовку, где ужинали художники; сидел на ступеньке внутренней лестницы; иногда декламировал Данте, иногда говорил о бойне, о гибели цивилизации, о поэзии, обо всем, кроме живописи. Одно время он увлекался пророчествами французского медика, жившего в XVI веке, – Нострадамуса. Он уверял меня, что Нострадамус с точностью предугадал Французскую революцию, триумф и разгром Наполеона, конец папского государства, объединение Италии; приводил еще не осуществленные предсказания: «Вот мелочь – республика в Италии... А вот и поважнее – людей отправят в изгнание на острова, к власти придет жестокий властелин, посадят в тюрьму всех, кто не научится молчать, и людей начнут истреблять...» Вытаскивая из кармана растрепанную книжку, он начинал выкрикивать: «Нострадамус предвидел военную авиацию. Скоро всех людей, которые посмеют не вовремя улыбнуться или заплакать, пошлют на полюс – одних на Северный, других на Южный...»

Когда пришли первые известия о революции в России, Моди прибежал ко мне, обнял меня и начал восторженно клекотать (порой я не мог понять, что именно он говорит).

В «Ротонду» стала приходить молоденькая девушка Жанна, похожая на школьницу; у нее были светлые глаза, светлые волосы, она робко поглядывала на художников. Говорили, что она учится живописи. Незадолго до моего отъезда в Россию я увидел на бульваре Вожирар Модильяни с Жанной. Они шли, взявшись за руки, и улыбались. Я подумал: наконец-то Моди нашел свое счастье...

Я приехал снова в Париж в мае 1921 года. Мне стали поспешно рассказывать все новости. «Как, ты не знаешь, что Модильяни умер?..» Я ничего не знал о друзьях по «Ротонде». Моди всегда кашлял, мерз; открылся процесс в легких; организм был истощен. Он умер в госпитале в начале 1920 года. Жанны на кладбище не было; когда друзья после похорон вернулись в «Ротонду», они узнали, что час назад Жанна выбросилась из окна. Осталась маленькая дочь Моди – тоже Жанна.

Вот и все. Похоронили Модильяни в складчину. Год спустя в Париже открылась выставка его работ. О нем писали книги; на его картинах наживались. Впрочем, это настолько обычная история, что о ней не стоит много говорить...

В различных музеях мира – в Нью-Йорке и в Стокгольме, в Париже и в Лондоне – я встречался с Модильяни. Он писал иногда ню, но большинство его работ – портреты. Он создал множество людей; их печаль, оцепенение, их затравленная нежность и обреченность потрясают посетителей музея.

Может быть, иной ревнитель «реализма» скажет, что Модильяни пренебрегал природой, что у женщин на его портретах чересчур длинные шеи или чересчур длинные руки. Как будто картина – это анатомический атлас! Разве мысли, чувства, страсти не меняют пропорций? Модильяни не был холодным наблюдателем; он не разглядывал людей со стороны, он с ними жил. Это портреты людей, которые любили, томились, страдали; и даты – не только вехи пути художника, это вехи века: 1910–1920. Смешно говорить, что Модильяни не знал, сколько позвонков приходится на шею, – он этому учился много лет в художественных училищах Ливорно, Флоренции, Венеции. Он знал и другое: например, сколько лет в одном таком году, как 1914-й. И если менялись, казалось бы, вековые понятия человеческих ценностей, как мог художник не увидеть изменившимся лицо своей модели?

Холсты Модильяни о многом расскажут последующим поколениям. А я гляжу, и передо мной друг моей далекой молодости. Сколько в нем было любви к людям, тревоги за них! Пишут, пишут – «пил, буянил, умер»... Не в этом дело. Дело даже не в его судьбе, назидательной, как древняя притча. Его судьба была тесно связана с судьбами других; и если кто-нибудь захочет понять драму Модильяни, пусть он вспомнит не гашиш, а удушающие газы, пусть подумает о растерянной, оцепеневшей Европе, об извилистых путях века, о судьбе любой модели Модильяни, вокруг которой уже сжималось железное кольцо.

24

Лето 1914 года началось для меня хорошо. Я написал несколько стихотворений, которые показались мне менее подражательными, чем прежние (я их включил потом в книгу «Стихи о каникулах»).

Лето было необычайно ясным, жарким, с редкими сильными ливнями. Все буйно цвело. Неожиданно я получил деньги из двух редакций и решил направиться в Голландию – ведь не запастись же зимним пальто! Меня соблазняли и живопись Рембрандта, и описания своеобразного быта, и приветливые голландки в белых чепчиках, фотографии которых висели в «Бюро путешествий».

(Мне странно теперь представить себе, что можно было отправиться в другую страну, не заполнив анкеты, не проводя недели в ожидании – впустят или не впустят; но слово «виза» я услышал впервые во время войны; прежде не спрашивали даже паспорта – на границе в вагон приходили только таможенники).

Голландия оказалась тихой и живописной. Чепчики были действительно белыми; действительно кружились крылья ветряных мельниц; крестьяне медленно покуривали длинные глиняные трубки; выхоленные коровы меланхолично жевали нежно-зеленую траву, а к утреннему завтраку неизменно подавали сыр. Словом, путеводитель, которым я обзавелся в Париже, меня не обманул.

Повсюду были музеи, и утром, проглотив побольше бутербродов с сыром, чтобы не обедать, я направлялся в какой-либо музей. Обычно голландскую живопись определяют как сугубо реалистическую, говорят, что она вдохновлялась повседневной жизнью. Сюжеты картин как бы подтверждают такие суждения: портреты, жанровые сцены, пейзажи с обязательным в этой стране сочетанием плоской земли, воды и неба, натюрморты. Но в Италии музей не отделен от улицы, на которой он помещается, искусство там сливается с окружающей жизнью. А в Голландии меня удивил разрыв между искусством прошлого и действительностью. Крестьяне были вполне деловитыми; биржа Амстердама казалась национальным институтом, в будни все читали биржевые бюллетени, а в воскресенье – молитвенники; пляж возле Гааги был заполнен тучными дамами. Среди всего этого стояли здания музеев, и там висели полотна Рембрандта, как они висели в Лувре и в Эрмитаже.

Я спрашивал себя, чем объяснить такой разрыв. Кажется, голландские художники и три века назад жили в куда большем внутреннем отъединении, чем итальянцы; выполняя заказы, изображая всем понятные жанровые сцены, они вдохновлялись живописным мастерством. В 1914 году слово «формализм» применялось только к «человеку в футляре»; но, выражаясь по-теперешнему, скажу, что старые голландцы мне показались формалистами. Я восхищался ими, но, выходя из музея, думал о своем.

Все это не относится к Рембрандту: от него я не мог оторваться, он меня заражал своим беспокойством. Видимо, он не жил в стороне от людей; его страстность смущала, а порой и возмущала современников. Вряд ли и другим художникам XVII века нравились негоцианты или епископы; но процветающим купцам нравились холсты художников, за картины хорошо платили, ими украшали дома. Теперь именем Рембрандта называют и улицы, и гостиницы, и марки сигар. А при его жизни было не то – имущество художника описывали, продавали с торгов; бывали годы, когда никто не стучал молотком в дверь его дома.

Я бродил вдоль каналов, мимо опрятных домов и думал о судьбе художника, не обращая внимания на прохожих. Может быть, это в климате Голландии? Недавно я читал письма Декарта к Гезу де Бальзаку. Декарт писал, как он проводит время в Голландии (он прожил в этой стране двадцать лет): «Каждый день я прогуливаюсь среди множества людей и чувствую такую же свободу, такой же отдых, как вы, когда вы гуляете по вашим аллеям, и люди,

которых я встречаю, для меня те же деревья, которые вы видите в вашем лесу...» Я вспомнил и потому о Декарте, что в то время впервые начал его читать, думал о сущности сомнений: «Я мыслю, следовательно, я существую».

Был жаркий день; я шел, как всегда, по улицам Амстердама, не вглядываясь в лица прохожих; внезапно что-то меня озадачило; все взволнованно читали газеты, говорили громче обычного, толпились возле табачных лавок, где были вывешены последние известия. Что приключилось? Я попытался понять сообщения; повсюду повторялось одно слово «oorlog»⁵⁵ – оно не походило ни на немецкие, ни на французские слова. Сначала я решил вернуться в гостиницу и почитать Декарта, но мною овладело беспокойство. Я купил французскую газету и обомлел; я давно не читал газет и не знал, что происходит в мире. «Матэн» сообщала, что Австро-Венгрия объявила войну Сербии, Франция и Россия собираются сегодня объявить о всеобщей мобилизации. Англия молчит. Мне показалось, что все рушится – и беленькие уютные домики, и мельницы, и биржа...

Я попробовал обменять русские деньги – у меня было двадцать рублей; но в банках отвечали, что со вчерашнего дня меняют только золотые монеты. На гостиницу денег не хватило, я оставил там вещи и побежал на вокзал.

В ночь на второе августа я добрался до последней бельгийской станции – во Францию поезда больше не шли. Бельгийцы отвечали, что их страна при любых условиях останется нейтральной (немцы вторглись в Бельгию на следующий день). Нужно было перейти пешком границу. Светало. Мы шли между золотых тяжелых колосьев, потом был зеленый луг; пели жаворонки. Мои попутчики молчали. По пустой дороге прошло стадо, звенели бубенцы коров. Наконец вдали показался человек – это был французский часовой; он зачем-то выстрелил в воздух, и среди тишины сельского утра выстрел меня потряс: я вдруг понял, что моя жизнь раскололась на две части. Какие-то солдаты нестройно затянули «Марсельезу». Навстречу шли немцы и немки, с ребятишками, с тяжелыми узлами – они пробирались в Германию. Часовой как-то неопределенно – не то осуждающе, не то беспечно – сказал: «Вот и война!..»

В последний раз я оглянулся назад – на белую пустую дорогу, на стадо коров, на бельгийскую деревушку. Я не знал, что через несколько дней деревню сожгут и по дороге двинутся к югу германские дивизии, не знал, что война надолго (все говорили «месяц, может быть, два»), но чувствовал, что в мире все перевернулось. Теперь я знаю: как бой часов обозначает условное начало нового года, бесцельный выстрел часового где-то возле Эркелини обозначил начало нового века.

Я навсегда запомнил тот летний день. Часто говорят, что значит в жизни человека первая любовь. А то была первая настоящая война – и для меня, и для людей, меня окружавших. Сорок четыре года – немалый срок; участники франко-прусской войны успели умереть или одряхлеть; над их рассказами молодые смеялись. Никто из нас не знал, что такое война.

Ко второй мировой войне долго готовились, успели привыкнуть к тому, что она неизбежна; накануне Мюнхенского соглашения французы увидели генеральную репетицию: проводы запасных, затемнение. А первая мировая война разразилась внезапно – затряслась земля под ногами. Только много недель спустя я вспомнил, что «Эко де Пари» призывала вернуть Эльзас и Лотарингию, что еще в России на собраниях я клеймил союз Франции с царем – «царь получил аванс под пушечное мясо», что владелец булочной много раз говорил мне: «Нам нужна хорошая, настоящая война, тогда сразу все придет в порядок». А когда я проезжал через Германию, я видел заносчивых немецких офицеров. Все готовилось давно, но где-то в стороне, а разразилось внезапно.

⁵⁵ Война (голландск.)

Меня взяли зуавы в свою теплушку. (Прежде я видел надписи на вагонах: в России – «40 человек, 8 лошадей», во Франции – «36 человек» и никогда не задумывался, о каких «людях» идет речь). Было тесно, жарко. Поезд шел медленно, останавливался на разъездах, дожидаясь встречных эшелонов. На станциях женщины провожали мобилизованных; многие плакали. Нам совали в вагон литровые бутылки с красным вином. Зуавы пили из горлышка, давали и мне. Все кружилось, вертелось. Солдаты храбрились. На многих вагонах было написано мелом: «Увеселительная экскурсия в Берлин».

Французские солдаты были в нелепой старой форме: синие мундиры, ярко-красные штаны. Война еще рисовалась такой, какой ее изображали старые баталисты: вздыбленные кони, знаменосец на холмике, генерал машет рукой в белой перчатке. Рассказывали множество историй – то хвастливых, то комических. Никогда не рождается столько басен, как в первые недели войны; тогда я этого не знал и всему верил. Одни говорили, что французы заняли Мец, что убита тысяча немцев, что русские казаки несутся к Берлину; другие уверяли, будто немцы вторглись во Францию, подходят к Нанси, Англия объявила о своем нейтралитете, потоплен французский крейсер, царь в последнюю минуту сговорился с Вильгельмом. Никто ничего не знал. Зуавы горланили, пели песни, то жалостливые, то ернические.

Северный вокзал в Париже походил на табор. На перронах ели, спали, целовались, плакали.

Я пошел к русским друзьям. Все кричали, никто никого не слушал. Один повторял: «Франция – это свобода, я пойду воевать за свободу...» Другой уныло бубнил: «Дело не в царе, дело в России... Если пустят – поеду, нет – запишусь здесь в добровольцы...»

Трудно рассказать, что делалось в те дни. Все, кажется, теряли голову. Магазины позакрывались. Люди шли по мостовой и кричали: «В Берлин! В Берлин!» Это были не юноши, не группы националистов, нет, шли все – старухи, студенты, рабочие, буржуа, шли с флагами, с цветами и, надрываясь, пели «Марсельезу». Весь Париж, оставив дома, кружился по улицам; провожали, прощались, свистели, кричали. Казалось, что человеческая река вышла из берегов, затопила мир. Когда я ночью валился измученный на кровать, в окно доносились те же крики: «В Берлин! В Берлин!»

Я не мог оторваться от вороха газет; перечитывал все, хотя повсюду было одно и то же: политические оттенки исчезли. Жореса убили, но его товарищи писали, что нужно воевать против германского милитаризма. Жюль Гед требовал войны до победного конца. Эрве, который славился тем, что его газета «Ля герр сосиаль» призывала солдат не повиноваться генералам, писал: «Это справедливая война, и мы будем сражаться до последнего патрона». Немецкие социал-демократы проголосовали за военные кредиты. Бетман-Гольвег назвал соглашение о соблюдении нейтралитета Бельгии «клочком бумаги». Бельгийский король призвал защищать родину; у него было симпатичное лицо, и все газеты печатали его портреты. Льеж героически сопротивлялся. Анатолий Франс попросил, чтобы его отправили на фронт, – ему было семьдесят лет; его оставили, конечно, в тылу, но выдали солдатскую шинель. Томас Манн, прославляя подвиги германской армии, вспоминал о Фридрихе Великом: «Это война всей Германии». Газеты сообщали из Петербурга об общем подъеме. Группа эсдеков и эсеров призывала эмигрантов записаться добровольцами во французскую армию: «Мы повторим жест Гарибальди... Если падет Вильгельм, рухнет в России ненавистное нам самодержавие...»

Я разворачивал «Патри» и жадно искал ответа. А кругом кричали, плакали, пели «Вперед, отечества сыны!...».

Я жил в маленькой дешевой гостинице «Ницца» на бульваре Монпарнас. Незадолго до войны хозяин гостиницы женился на милой эльзаске, почти девочке. Его призвали на четвертый или пятый день. Он собрал старых постояльцев (все они были русскими эмигрантами): П. Л. Лапинского, Ю. О. Мартова, меня – и попросил нас помочь его молодой жене,

если ее будут обижать как бывшую немецкую подданную (особенно его волновало, что к жене приехал погостить брат, мальчишка лет пятнадцати, не знавший французского языка, который застрял в Париже); хозяин распорядился, чтобы с нас не брали денег за комнаты до конца войны.

Я встретил художника Леже, он сказал, что его призвали, направляют в саперный полк, завтра он уезжает. Я машинально спросил, как прошла выставка. Он усмехнулся и махнул рукой.

Ко мне пришел мой друг Тихон Иванович Сорокин с последними новостями: завтра во Дворце инвалидов начинается запись иностранных добровольцев. Он пойдет с утра.

Тяжелее всего было сидеть и смотреть, как уезжают другие. Я сказал Тихону: «Я тоже пойду...» Он долго мне говорил о значении этой войны для России. Разговора я не помню; помню только, что, уходя, он сказал: «Ну, ты, брат, просто с ума спятил...»

Мыслить я не мог и, следовательно, если Декарт прав, уже не существовал.

25

Большая площадь перед Дворцом инвалидов была заполнена людьми; колоннами выстроились итальянцы, поляки, греки, испанцы, румыны с флагами, с плакатами; было много русских – одни с трехцветными флагами, другие с красными. Образовалась первая военная очередь; если задуматься над судьбой добровольцев, можно сказать, что это была очередь на смерть; но все были веселы, пели, задорно кричали: «В Берлин!» Дни стояли знойные; люди пили лимонад и, вытирая потные лица, снова начинали петь.

Я был в хвосте и дошел до стола, где сидел уса́тый майор, только под вечер. Военный врач мрачно на меня посмотрел, приставил к сердцу трубку и крикнул: «Следующий!» Я думал, что мне сейчас выдадут красные штаны, но сержант меня обругал: «Ты что..... по-французски не понимаешь?» Оказалось, меня забраковали. Какие изъяны во мне обнаружил военный врач, не знаю; может быть, я показался ему чересчур дохлым – нельзя безнаказанно в течение трех или четырех лет предпочитать стихи говядине. Я убежден, что, если бы меня осмотрели на несколько месяцев позднее, я был бы признан вполне годным: стоит любому товару, в том числе пушечному мясу, стать дефицитным, как люди перестают привередничать.

В толпе я увидел многих знакомых – и русских эмигрантов, с которыми встречался в библиотеке Гобелен, и завсегдатаев «Ротонды». Я тогда не был знаком с В. Г. Финном, а он, наверно, стоял в той же колонне, что и я.

Вечером в «Ротонду» пришел Кислинг в военной форме. Либион его обнял, выставил всем шампанское; мы выпили за победу.

Тихон сказал мне, что его направляют в Блуа – там будут обучать добровольцев. Я ему позавидовал: хуже всего в такие дни быть зрителем. Мы провожали добровольцев, пели «Марсельезу», «Смело, товарищи, в ногу», какие-то сентиментальные куплеты.

Тогда вообще много пели – и на вокзалах, и на улицах, и в кафе. Очевидно, у войны свои законы: в первые недели все поют, пьют, плачут, ругаются и еще ловят шпионов. Меня несколько раз водили в полицию – из-за фамилии; каждый раз приходилось доказывать, что хотя я действительно Эренбург, но все же не немец. Рассказывали множество невероятных историй – о том, как немецкий разведчик был задержан в дамском платье, когда вывозил какие-то секретные планы, как в Елисейском дворце обнаружили кладовку, где прятался шпион с фотоаппаратом. Повсюду были надписи: «Молчите! Остерегайтесь! Вас слушают вражеские уши».

Разгромили молочные «Магги». Арестовали графа Карольи, хотя он выступал против Габсбургов. Людей лихорадило. Все жаждали победы и уверяли друг друга, что через несколько дней будет взят Страсбург.

Вдруг по городу поползли зловещие слухи: битва проиграна, армия в беспорядке отступает, немцы идут на Париж.

Под вечер прилетел немецкий самолет – скорее для устрашения, чем для уничтожения. Немцы его называли «Taube» – «голубь»; меня больше всего удивляло это название – ведь голубку мира придумал не Пикассо, это очень старая история о большом потопе, о маленьком ковчеге и о ветке маслины, которую голубь принес в клюве отчаявшимся людям. Парижане весело кричали: «“Тоб” летит!», выбегали на улицу, жадно вглядывались в небо – все это было внове...

В богатых кварталах шли путевые сборы; из домов выносили большие сундуки; горничные и лакеи впопыхах говорили: «В Ниццу...», «В Тулузу...», «В По...» Потом позакрывались ставни, стало тихо. Правительство уехало в Бордо.

«Здорово они нас предали!» – это можно было услышать повсюду. Одни обвиняли Пуанкаре, другие – Кайо, третьи – генералов. Сводки напоминали «герметическую поэзию» – их могли расшифровать только посвященные; но, помимо сводок, имелись другие источники информации – привозили раненых, появились первые дезертиры; они рассказывали, что у немцев куда больше артиллерии, все потеряли голову, полки перемешались. Люди, обожающие стратегию, говорили, что генеральный штаб наделал глупостей – пошли зачем-то в Эльзас, а левый фланг остался неприкрытым...

Ночь позднего лета, горячая, темная. Я стою возле «Клозери де лиля». Все на улицах: идут солдаты – с юга на север, от Порт д'Орлеан к Восточному вокзалу. Женщины их обнимают, плачут, кричат: «Спасите!..» На штыках георгины, астры. Песни, слезы, маленькие бумажные фонарики. Я стою всю ночь, и всю ночь мимо проходят солдаты. Нет, люди зря паникуют, у французов еще много резервов!.. Но почему они отступают? Ничего нельзя понять – ни сводок, ни песен, ни слез...

Исчезли такси – генерал Галлиени их реквизирует, чтобы подбросить подкрепление на Марну; это тоже было новшеством – о моторизованной пехоте еще никто не мечтал. Техники было меньше, но не воображения: все рисовалось грандиозным, апокалипсическим.

Утром пришел убирать комнату брат хозяйки Эмиль. Хотя он был эльзасцем, но не скрывал своей любви к кайзеру. Русских он ненавидел; он говорил мне, что я ничего не умею делать, таковы все русские, нужно навести в России порядок. Я над ним посмеивался – мальчишка (ему еще не было пятнадцати лет). На этот раз он чуть ли не замахнулся на меня половой щеткой и торжествуя сказал: «Немцы в Мо! Завтра они будут в Париже...» Я ему не поверил, но все же выбежал и купил газету; сводка, как всегда, была туманная. Я дошел до «Ротонды». Либион сидел мрачный, даже не поздоровался со мной. Прибежал знакомый поляк и, задыхаясь, шепнул: «Они в Мо...»

Я помнил Мо, я там как-то был с Катей, это в тридцати километрах от Парижа... Черт возьми, почему военный врач придрался к моему сердцу? Я могу хорошо ходить, даже бегать.

Дальнейшее известно: началось контрнаступление; при битве на Марне погиб поэт Шарль Пеге; немцы отошли и окопались. (Потом я увидел деревянный крест с надписью «Лейтенант Шарль Пеге», а рядом столбик «34» – тридцать четыре километра от Парижа).

В соборе Парижской Богоматери состоялось торжественное богослужение. Молившиеся кричали: «Да здравствует Господь Бог! Да здравствует Жоффр!» Кого это могло тогда рассмешить? Разве что химер, но, будучи каменными, они сидели и молча думали, как им положено.

Немцы отступили не так уж далеко; газеты, желая рассеять опасный оптимизм, писали: «Нужно помнить, что немцы в Нуайоне». Нуайон был в девяноста километрах от Парижа. «Немцы в Нуайоне» стало присказкой, но она мало-помалу теряла силу – жизнь вступала в свои права.

Я по-прежнему прочитывал десятки газет: может быть, кто-нибудь на свете мыслит, следовательно, существует? Я искал, что говорят писатели. Меня не удивили воинственные речи Киплинга, Гауптмана, Лоти. Я смеялся над оперными выступлениями Д'Аннунцио, который требовал крови. Но и другие – Верхарн, Анатоль Франс, Мирбо, Уэллс, Томас Манн – повторяли то же, что говорили Пуанкаре или фон Бюлов. В некоторых газетах были белые пятна – статьи или сообщения, зачеркнутые цензурой (французы почему-то называют цензуру женским именем – Анастасия). Эти белые пятна меня несколько обнадеживали – кто-то знает правду, но не может ее высказать.

С тех пор прошло много лет, много событий – фашизм, вторая мировая война, Освенцим, Хиросима; смятение, овладевшее мною осенью 1914 года, может показаться наивным.

Однако первый убитый потрясает человека, дотоле не нюхавшего порошу, больше, чем впоследствии зрелище страшного поля боя. Блок писал еще в 1911 году:

И отвращение от жизни,
И к ней безумная любовь,
И страсть и ненависть к отчизне...
И черная, земная кровь
Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи...

Я сидел часами над ворохом газет; все было покрыто туманом лжи, свирепости, глупости.

Конечно, первая мировая война была черновиком. Различные правительства выпускали сборники документов – «белые книги», «желтые», «синие», – пытались доказать, что не они начали войну. Немцы, разрушая Реймский собор, ратушу Арраса или средневековый рынок Ипра, уверяли, что они неповинны в вандализме. Четверть века спустя бомбардировочная авиация перестала заглядывать в историю искусств. Немцы, французы, русские возмущались дурным обращением с военнопленными; никому не могло прийти в голову, что в годы следующей войны фашисты будут преспокойно убивать всех неработоспособных. Немцы в американских газетах негодовали: войска великого князя Николая Николаевича насильственно эвакуируют польских евреев. Гиммлеру тогда было четырнадцать лет, он гонял собак и не думал об организации Освенцима или Майданека. 22 апреля 1915 года немцы впервые применили удушливые газы. Это показалось всем неслыханным; и действительно, это было зверством. Разве мы могли вообразить, что такое атомная бомба?..

(Впрочем, немецкие шовинисты уже тогда показали, что будущее будет ужасающим. В 1950 году известный датский микробиолог, профессор Мадсен – ему было восемьдесят лет, – рассказал мне о примечательном случае, относящемся ко времени первой мировой войны. Мадсен работал в датском Красном Кресте и осматривал продовольственные посылки, которые направлялись из Германии немецким военнопленным в Россию. В одной из посылок он обнаружил бациллы, предназначавшиеся для заражения рогатого скота. Мадсен добавил, что он убежден в непричастности высшего германского командования к этой попытке бактериологической войны – посылка, по его мнению, была индивидуальным актом).

Я помню, как смеялись над газетой «Матэн», которая сообщила, что русские находятся в пяти переходах от Берлина; но все спокойно читали в той же газете, что «гений Гете сродни удушливым газам». Товарищ привез с фронта немецкую газету, я прочитал в ней, что русские – это «печенег», вся культура России создана немцами, а коренное ее население способно выполнять только грубую физическую работу.

Кто-то дал мне книжку французской баронессы Мишо. Она изобрела новый термин «жидо-боши»; главным «жидо-бошем», по ее словам, был закоренелый враг Франции поэт Гейне. Баронесса также обличала Ромена Роллана и Георга Брандеса. Вскоре после этого фронтовик показал мне номер мюнхенской газеты, где какой-то журналист доказывал, что Яльмар Брантинг и Бласко Ибаньес, проявляющие симпатии, к Франции, «полуевреи».

Я вдруг понял, что хотя Декарт высказывал очень умные мысли, не они определяют духовную жизнь миллионов людей. Выросший на идеях XIX века, я преувеличивал роль философов и поэтов; то, что мне казалось вошедшим в плоть и кровь общества, было только костюмом. Пиджаки сменили на френчи, гуманизм – на кровожадность, декартовские сомнения – на добровольный отказ от какого-либо мышления.

Как-то пришел ко мне мой сосед, польский социалист Павел Людвигович Лапинский, попросил перевести заметку, напечатанную в итальянской газете. (Италия еще была нейтральной, и в итальянских газетах можно было найти многое, неизвестное во Франции). В заметке говорилось, что французский генеральный штаб по требованию владельцев лотарингских шахт запретил артиллерии обстреливать шахты, захваченные немцами. Павел Людвигович сказал: «Людей они не жалеют, а свое добро берегут...» Он объяснил мне, что использует сообщение для русской социалистической газеты «Наше слово», которая выступает против войны. Потом он регулярно приносил мне эту газету; тон статей напомнил мне эмигрантские собрания. Павел Людвигович говорил, что все происходящее основано на обмане, а долго обманывать народы капиталистам не удастся. Иногда я с ним соглашался, иногда начинал спорить. Война мне казалась отвратительной; я ненавидел и владельцев шахт, и Пуанкаре, и богомольных дам, раздававших солдатам ладанки, все лицемерие и трусость тыла; но одновременно я повторял про себя стихи Шарля Пегю:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.